

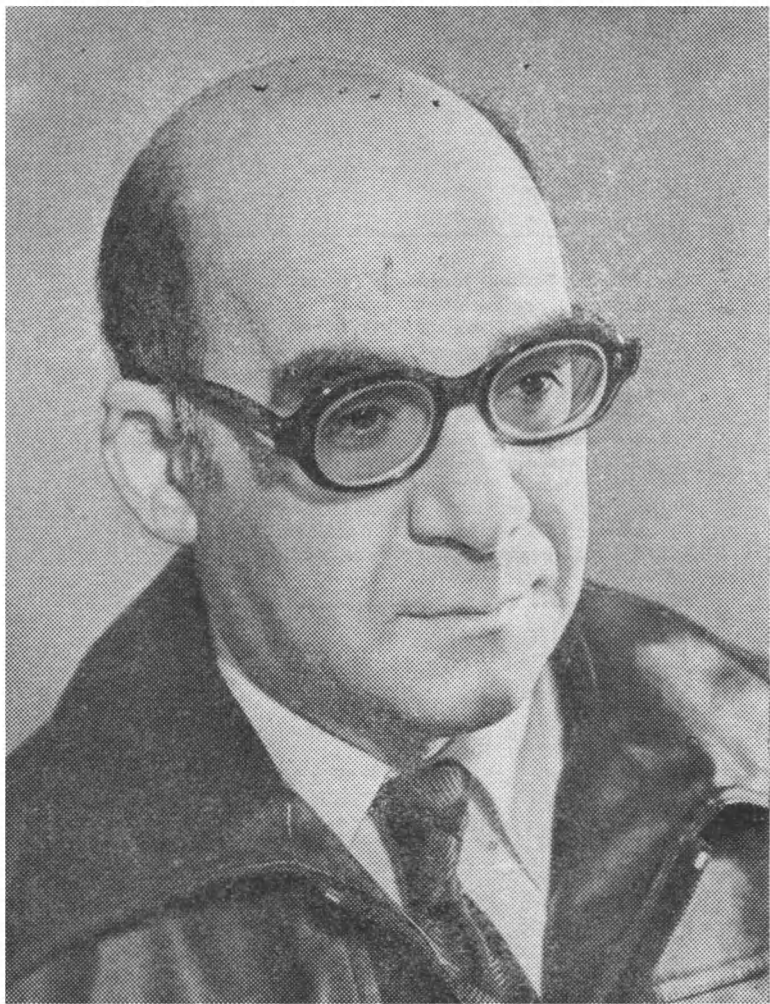
УАРД
БАЕВ



СЛЕД СТРЕЛЫ

Эдуард Бабаев родился и вырос в Средней Азии. И потому неудивительно, что его творчество посвящено в основном родному краю. Среди героев его произведений — труженики пустынь, уникальных заповедников, строители дорог. Многие рассказы Эдуарда Бабаева автобиографичны. Большой интерес представляют страницы, рисующие жизнь тыла в годы Великой Отечественной войны, быт и труд подростков в школе, дома, на военных предприятиях, в экспедициях.

Издательство «Советский писатель» выпустило в свет две книги стихов Эдуарда Бабаева: «Кратчайшие пути» и «Солнечные часы». Новая книга — проза поэта — тематически связана и с его стихами.





ЭДУАРД БАБАЕВ

**СЛЕД
СТРЕЛЫ**

**РАССКАЗЫ
И ПОВЕСТИ**

**Москва
Советский писатель
1980**

Р2
Б12

Художник Марианна ЭЛЬКОНИНА

Б $\frac{7030z-406}{083(02) - 80}$ 9—81. 4702010200

© Издательство «Советский писатель», 1980 г.



РАССКАЗЫ

НОВЫЕ ЛЮДИ

Когда Крылов был назначен директором заповедника, первое, что он сделал, — перепахал дороги на территории Алтын-Сая.

Теперь через уголья заповедника можно было пройти пешком, проехать на лошадях, но машинам въезд в глубину арчовых рощ и чистых озер был воспрещен.

Крылов занимался чем угодно, только не благоустройством вверенного ему хозяйства, если под благоустройством понимать удобства для человека.

Земля должна была отдохнуть, прийти в себя, вспомнить свой облик, найти потерянное равновесие.

Слишком долго через богатейшие уголья Алтын-Сая проходила большая дорога, и не одна, а несколько, и без особенной надобности.

В окрестных горах лес вырубали заготовители, зверя промышляли любители, птиц стреляли кто проворнее, охраны настоящей не было, рыб глушили бутылками с карбидом.

И край обеднел. Человеку стало жутко в пустой тишине леса, на берегу пустой реки, глаз терялся в пустой глубине неба.

Если через пустыню проходит дорога, то звери отступают от нее в обе стороны... Если вместо одной появится две дороги, они отступят еще дальше. И может случиться, что отступить им дальше будет некуда.

По краям дороги расплзались пятна мазута, следы гари и костров. Муравейники разорены. И особенно поразило Крылова то, что гюрза ушла...

Змеелов сказал ему:

— Гюрза ушла...

И Крылов был потрясен.

Что такое заповедник?

Это память земли, живая, деятельная, вечная. В ней не должно быть пробелов.

И земля отвечала на вопросы, которые задавал ей человек. Иногда с трудом, как бы припоминая забытый ответ, но всегда отвечала верно.

Она ждала милостей именно от него, от человека. И человек должен был прийти ей на помощь, ведь и ему самому необходимо равновесие.

И Крылов перепахал для начала дороги, которые проходили через Алтын-Сай.

Из-за этого у него произошли первые столкновения с шоферами, которые не признавали объезда и, даже видя перед собой перепаханную землю, все же ухитрились проехать через территорию заповедника.

— Вы человек новый, — говорили они, — а мы здесь всю жизнь ездили!

— А теперь здесь дороги нет, — отвечал Крылов.

И он добился разрешения установить перед воротами заповедника знак, запрещающий въезд.

— Мы привыкли по этой дороге ездить! — кричали шоферы.

— От дурных привычек надо избавляться, — спокойно отвечал Крылов.

Трудность состояла в том, что равновесие все время нарушалось и в результате его собственных усилий...

Не было кабанов в ущельях.

Развели кабанов.

Кабаны съели все, что можно было съесть в ущельях, и вскоре появились на полях и огородах соседних совхозов.

К Крылову примчались разъяренные люди, которые требовали одно из двух: или разрешить охоту без лицензий, или загнать всех кабанов в заповедник.

Но ни того, ни другого Крылов не мог допустить.

К тому же ему сообщили, что и охотничий домик рухнул, потому что его основание подрыли кабаны.

Равновесие требовало точного математического расчета. Сколько волков и овец могут жить на острове, чтобы не нарушалось природное равновесие?

Одни советовали выписать кибернетическую машину, а другие считали, что нужно спросить старых пастухов.

Трудно было с людьми. Трудно было с самим собой. В письмах к жене в Ленинград Крылов рассказывал о своей жизни: «Территория заповедника большая. Больше десяти тысяч гектаров. Мы проводим научную работу по акклиматизации полезных животных. В водоемах нашей базы хорошо прижились нутрия и ондатра, а сейчас мы готовим к запуску енота и сайгака. Надеемся, что в нашем заповеднике будут и газели...»

Мария Павловна читала эти строки, выведенные на почтовой бумаге его четким почерком, и улыбалась. Конечно, он нарочно выписал для нее страницу из своего доклада или отчета, чтобы не говорить о том, что она и так понимает без всяких слов. Самый молодой доктор наук Крылов отказался от заведования кафедрой и уехал в заповедник. А она осталась и каждый день теперь проходила одна мимо старых сфинксов на набережной.

Крылов всегда называл ее Мария Павловна. А она называла его Крыловым. Она изучала восточные языки и древнюю историю в университете. А Крылов звал ее к себе. «Деятельность заповедника должна идти в ногу с современностью, — писал Крылов. — Мы должны отбросить принцип типового кунсткамеризма. Я считаю, что современные заповедники должны быть не только охраняемыми участками природы, но и акклиматизационными зонами для полезных видов флоры и фауны с целью обогащения и преобразования природы...»

Под солнцем сфинксы становились золотистыми. Читая письма Крылова, Мария Павловна незаметно для се-

бя обращалась от истории древнего мира к современности. Правда, отъезд Крылова все же был для нее неожиданностью. По утрам она читала его письма и старалась представить себе новую жизнь.

Она знала, что Крылову нужна ее помощь. Восточные языки давались ей легко. Казалось, что она не изучает, а вспоминает их. Крылов называл ее Принцесса Турандот. У нее были темные волосы и странные глаза, в которых даже днем, как говорил Крылов, видны были звезды.

Они познакомились в Эрмитаже. Крылов тогда повел ее смотреть «Охоту на львов» Делакруа. И разговор, начавшийся однажды, уже не обрывался никогда. Она знала, что Крылов мечтатель. Но он был из тех мечтателей, у которых мечта не расходится с делом. Этого она не могла сказать о себе.

Ее отъезд откладывался со дня на день. Нужно было приготовить к печати статью, вычитать гранки, сверить с источниками. Она засиживалась допоздна в библиотеке. А потом вдруг, с наступлением весны, заторопилась, все бросила как есть и уехала утренним поездом.

Теперь она шла одна через платановую рощу в своем городском плаще, с легкой сумкой через плечо, в темных солнечных очках. Над ее головой шелестели большие деревья. Пестрый угод перешел дорогу. Гранатовый куст был похож на карлика из восточной сказки.

«Я не была здесь лет семьсот. Но... ничего не изменилось. Все так же льется божья милость с непрекаемых высот», — вспоминала она стихи, которые казались ей сейчас таинственной вестью из древнего мира.

Крылов писал ей, что края света больше не существует. Уединения нет ни в заповедниках, ни в музеях, ни в библиотеках... И даже обещал ей показать Олимпийский стадион в горах. И она поехала за ним на край света.

Домик, в котором жил Крылов, был именно таким,

каким она себе его и представляла. Только стол, кресло, пишущая машинка и книги на полках.

Когда Мария Павловна отворила дверь, какой-то зверь кинулся ей навстречу. Она вскрикнула и увидела перед собой волчонка. Он ласкался о ее колени и скалил зубы.

В окно заглядывала косуля. На шкафу сидел филин и вращал круглыми глазами. Он сидел на выточенной коряге, а рядом в рамке под стеклом стоял ее, Машин, портрет.

На стене была прикреплена репродукция с картины Делакруа «Охота на львов».

Что-то такое было в Крылове, чего Мария Павловна ни в ком не видела до сих пор. Но что? Пожалуй, то, что он не помнил зла.

— Природа не помнит зла, — говорил Крылов. — Ты знаешь, как дельфины играют с детьми...

Нет, она не причинила ему зла. Она приехала. Она не противилась его решению оставить кафедру. Она была его жена. И оба они начинали жизнь сначала. «Он прочен, мой азийский дом, и беспокоиться не надо... Еще приду. Цвети, ограда, будь полон, чистый водоем».

Мария Павловна не знала еще, как много труда было положено Крыловым на то, чтобы водоем, которым она любовалась из окна, был чистым. Но природа не помнит зла...

То, что Крылов не встретил ее, казалось ей естественным. Он занят, как всегда. И нужно ждать, когда он вернется и скажет с порога: «Принцесса Турандот! Ты вернулась...»

Мария Павловна сняла плащ, солнечные очки, завязала волосы косынкой, нашла лестницу и стала сметать пыль со стен и потолка.

Она стояла высоко наверху, когда дверь отворилась и вошел Крылов. Он бросился к ней, схватил ее на руки, и они оба потеряли равновесие.

Хорошо, что на полу была расстелена солома.

— Я так рад тебя видеть! — говорил Крылов, целуя ее в глаза. — Как ты доехала?

— Как я доехала? И ты еще спрашиваешь? Какой-то безумец перепахал все дороги... Я шла как первый поселенец...

ВЫСТРЕЛ

Машина переехала шаткий мостик.

На потолке мелькали свет и тени. Видимо, проезжали какой-то поселок. Загудел паровоз.

Да, это железнодорожная станция.

Теперь недалеко. И поезд уже ушел.

Сагит закрыл глаза и успокоился. Лекарство, которое дал ему доктор, было не горькое и не сладкое, а так — напоминало вкус травы.

И машина просторная. Раньше Сагит никогда не видел ее изнутри. Встречал, конечно, на дорогах, но внутрь не заглядывал, слава богу.

Он посмотрел на доктора. Молодой человек. Сидит в кожаном кресле и смотрит в окно. Жизнь у него тоже спокойная, в разъездах...

И как тут все устроено!

Носилки, например. Кажется, что узкие, а ничего: придет нужда — и в скорлупке море переплывешь.

Сагит не хотел ни думать, ни вспоминать о Джахангире.

Довольно было и того, что он уехал поездом и никто его не видел.

Сейчас, наверное, Джахангир стоит в тамбуре и курит свою сигарету. Но, может быть, он вернется?

Что делать, если брат забыл справедливость...

Сагит смотрел на молодого доктора. Ему очень хотелось с ним поговорить. Спросить этого приятного человека, откуда он родом и здоровы ли его родители.

— Не надо ничего говорить сейчас, — сказал доктор. — Меня зовут Амин. Родом я из Маргилана. Родители мои здоровы. Приступ у вас уже прошел. Но вам нужен покой.

Сагит улыбнулся. Доктор ему нравился.

Проницательный.

Сагит сказал, что ему непременно нужно завтра быть в заповеднике, что на кордоне осталось ружье...

— Сердце — тоже заповедник, — сказал доктор. — Будьте осторожны.

И Сагит опять вспомнил Джахангира и как будто снова услышал тот глухой ночной выстрел, который отозвался эхом по всему Алтын-Саю.

И тогда Сагит сказал брату:

— Оставь дом мой!

Это были страшные слова.

Никогда Сагит не сказал бы этих слов не только брату, но никому, кто вошел бы в его дом как гость.

Но слова эти были сказаны.

И они прозвучали сильнее, чем выстрел.

Джахангир выронил ружье.

Но джейран был убит.

Тот самый джейран, которого Сагит приучил подходить без опаски к жилищу и который был похож на изящную строфу из Хафиза.

Джахангир сказал что-то о лицензии, о том, что у него есть лицензия на охотничий выстрел.

Но Сагит не слушал его.

Снова прозвучали страшные слова: «Оставь дом мой!» И Джахангир сказал:

— Хорошо!

И ушел на станцию. Он был старший брат. Он ушел один, пешком, и Сагит не провожал его.

Сагит подобрал ружье брата и побрел на кордон.

Он был егерем, но не имел сил взглянуть на убитого джейрана.

Выстрел еще звучал в его ушах, и он видел перед собой бледное лицо старшего брата.

Джейраны долго не приживались в заповеднике. Они разучились жить на воле. Для них отвели большое пространство между каналом и рекой.

Там было все, что нужно для них. И они учились жить в песках. Но один из них всегда возвращался к дому Сагита.

И он иногда читал ему стихи Хафиза. И Сагиту казалось, что джейран слушает музыку древней речи.

Почему одинокие люди любят читать стихи самим себе?

И когда джейран слушал Хафиза, Сагит не чувствовал себя одиноким.

С тех пор как умерла жена Сагита, он жил один. Сын его учился в городе. Дом опустел.

Как обрадовался Сагит, когда к нему приехал старший брат. Он встретил его почтительно и с любовью.

И вдруг этот выстрел!

И те страшные слова: «Оставь дом мой!»

На кордоне Сагиту стало плохо, как будто вдруг не хватило воздуха на глубоком месте.

Хорошо было бы выйти из машины самому, чтобы не беспокоить соседей. Но доктор сказал:

— Не тревожьтесь. Мы с шофером перенесем вас на руках.

«Утром явится Кумри, — думал Сагит, — как только узнает, что я заболел». Кумри была сестра его жены. И всегда помогала ему по хозяйству, когда нужно было. Стряпала или стирала и все у нее выходило хорошо, только с большим опозданием. Белье она развешивала после захода солнца, а обед поспевал к ужину. Очень она была медлительна. Но Сагит привык. Кумри непременно спросит: «А где же брат Джахангир?»

И Сагит не знал, что ответить ей на этот вопрос.

Сагит лежал в своей комнате и смотрел на ковер, на его узоры, простые и бесконечные, как тропинки в горах.

В комнату вошла Кумри.

— Сагит, — сказала она, — ты спишь?

— Нет, — отозвался Сагит. — Я думаю.

Кумри тоже думает. Потом она говорит:

— Принесли ружье с кордона.

— Где оно? — спросил Сагит.

Кумри ушла. Потом вернулась и подала Сагиту ружье Джахангира.

Сагит приподнялся на постели, взял ружье, выбросил патрон из затвора и задумался.

Потом повесил ружье старшего брата над изголовьем своей постели. Лег и закрыл глаза.

— А где Джахангир? — спросила Кумри.

И Сагит прошептал две строки из старинной газели про обиду:

Я жизнь отдам за брата моего.

Что ж плачу я? — спросите у него.

ОХОТНИЧЬЯ ПЕЩЕРА

Антрополог Аксенов рассматривал наскальное изображение.

Его интересовало психологическое и историческое значение пропорций древнего рисунка.

— Посмотрите, — говорил он. — Бизон огромен. Но огромен и этот человек, замахнувшийся на него копьем. Они оба огромны. И достойны друг друга. Пропорции вытянуты, фигурам придана линия стремительного движения, полета. Такой и должна быть сцена охоты. Одна неверная линия — и охотник будет смят!

Аксенов стоял на лесенке-стремянке в глубине пещеры. Фонарь мощным лучом освещал наскальный рисунок.

Эту пещеру открыли недавно. То есть известна она была давно и даже называлась Охотничьей, но почему она так называется, никто не знал. И лишь недавно пионеры, совершая летнюю прогулку в горы, развели в пещере костер и вдруг увидели при свете древнего огня высоко вверху какие-то изображения на скале. Аксенов приехал со своим учеником из Академии наук, чтобы исследовать находку в Охотничьей пещере. Его ученик Ершов писал диссертацию о психологии поведения на основе древнейших памятников культуры.

У них был проводник — десятилетний мальчик Музафар, один из тех, кто первым увидел рисунки на скалах.

Был жаркий день, и Аксенов намотал на голову свой зеленый шарф наподобие чалмы.

Аксенов много путешествовал, побывал в Индии и очень любил старую книгу Всеволода Иванова «Похождения факира». «Мало во мне знаний, — повторял он слова Бен-али-Бея, героя этой книги. — Еще меньше у меня друзей!» Друзей у него было много и знаний — тоже. Его книги в университетской библиотеке занимали

целую полку. Он не успевал отвечать на письма, которые приходили к нему со всех концов земли, но ему всего было мало... «Мало во мне знаний!» — восклицал он.

Невозможно было объяснить, каким образом древний художник поднимался на такую высоту.

— Может быть, он был факир и стоял в воздухе? — спрашивал Аксенов.

— Ну зачем же в воздухе? — ответил Ершов. — Может быть, он подкатывал камень и становился на него, чтобы доставать до свода пещеры.

— Сколько же раз ему приходилось вкатывать этот камень в гору? — заметил Аксенов, указывая на естественный скат в пещере.

— Должно быть, Сизиф был, — пошутил Ершов.

Аксенов сказал:

— В каждом художнике есть что-то от Сизифа. И очень возможно, что здесь был такой камень, который древний художник вкатывал каждый раз на гору, чтобы достать до той высоты, на которой он расположил сцену охоты. А пока я прошу вас обратить внимание на другой рисунок. Видите? Здесь изображены овцы и козы, кони и птицы. И рядом с ними маленькие фигурки людей. И вот я вас спрашиваю, почему эти фигурки столь малы по сравнению с фигурой охотника, который кажется гигантом.

— Перспектива, — сказал Ершов.

— Перспектива? — переспросил Аксенов. — Никакой перспективы не было. Все изображалось в натуральную величину, хотя пропорции и относительная величина изображений, как я полагаю, заключали в себе определенную знаковую систему, смысл изображаемого.

Аксенов стоял в воздухе. Так, по крайней мере, казалось, потому что света фонаря хватало лишь на то, чтобы осветить своды пещеры и его вдохновенное лицо. В зеленой чалме Аксенов был похож на факира.

— Этот громадный человек, — продолжал Аксенов, — охотник. Он и должен быть таким. Он равен по силе, ловкости и смелости дикому зверю. Иначе он не мог бы победить его. А здесь, на другой картине, ему делать нечего. Представьте, он принес убитого зверя к своему жилищу, бросил его на пороге и уснул. Уснул от усталости. Для того чтобы выследить и победить зверя, ему нужны были гигантские силы. Охотник убил зверя. А зверят отдал своим детям. Пусть играют, учатся видеть зверей вблизи, ведь им тоже предстоит стать охотниками. И дети играли... Но они сделали то, чего никто не ожидал, — они приручили диких зверей. И вот почему фигурки людей рядом с домашними животными такие маленькие. Пропорции имеют не только исторический, но, если хотите, социальный смысл. Эти маленькие люди — дети. Только дети способны тратить столько времени на игры с животными. И посмотрите, как животные понимают детей. Взрослые были слишком заняты для того, чтобы приручать их. Это могли сделать только дети. Мы недооцениваем роль детей в истории человечества, потому что мы не обращаем внимания, например, на пропорции древних рисунков.

Все, что говорил Аксенов, становилось как бы самоочевидным. Он умел внушать своим слушателям силу своего увлечения и воодушевления. Во всяком случае, разбор пропорций наскального рисунка произвел на Ершова сильное впечатление.

Однако он, со своей стороны, заметил:

— Вот вы говорите, что дети любят животных. А Лев Николаевич Толстой как-то сказал, что дети любят животных и любят, закрыв глаза, мучить их...

Аксенов снял с головы чалму. Лицо у него стало грустным. Он думал. Потом сказал:

— Закрывать глаза, и физически, и духовно, — значит изменить своему долгу. С открытыми глазами никого мучить нельзя.

Когда Аксенов и Ершов, погасив фонарь, вышли из темной и глубокой пещеры, они невольно зажмурились от яркого солнечного света.

На поляне их ждал Музафар, держа в поводу трех лошадей. Он был маленький, с тонкими ручками, а лошади большие, с длинной гривой. И он о чем-то с ними говорил, а они его слушали, прядая ушами.

ЧИСТЫЙ ЛИСТ

Сергей был мечтателем. Учитель физики Нагорнов, по прозвищу Архимед, говорил ему, что он останется на второй год, если не перестанет мечтать.

А Сергей продолжал витать в облаках.

Нагорнов был уверен, что, кроме физики, ничего не существует...

Если Сергей переставал мечтать на уроках, то исключительно ради того, чтобы не остаться на второй год.

На второй год ему оставаться никак было невозможно.

В конце каждой четверти мама отправляла отцу в другой город большое письмо о занятиях и успехах Сергея.

Успехи у него были неважные.

Но на второй год оставаться никак было нельзя, потому что отец сказал, что перестанет присылать деньги, если Сергей не будет учиться как следует.

И Сергей учился... Не ради тех денег, конечно, а так, чтобы не сердить отца, который почему-то всегда раздражался, когда бывала у него такая возможность, и на Сергея и на маму.

Как будто они стали в чем-то перед ним виноваты с тех пор, как он уехал от них в другой город.

Сначала Сергей думал, что он уехал ненадолго, а потом понял, что — навсегда.

Мама однажды забрала Сергея, когда он еще был маленьким, и поехала к отцу в другой город.

Они разыскали его дом. Но ворота были заперты. И они так и не увидели отца.

Просто не застали его.

Он был в отъезде...

И вернулись домой поездом. В дороге мама покупала Сергею шоколад и лимонную воду.

Поэтому шоколад и лимонная вода всегда вызывали в нем тоску и воспоминание о долгой поездке в полупустом вагоне.

А потом отец стал присылать деньги. Сколько положено и еще сверх того для Сергея, пока он учился, для опоры, как он говорил.

Почему мама осталась и почему отец уехал? Сергей этого понять не мог. И придумывал разные истории.

Лучшая из них заключалась в том, что однажды он приедет домой и все будет как было прежде, когда все были вместе.

Когда Сергей стал старше, он узнал, что у отца в другом городе есть другая семья. Понять это все равно было невозможно, но привыкнуть к этому пришлось.

Осталась только привычка придумывать разные истории про себя.

Мечтал он о том, что сам найдет когда-нибудь точку опоры и станет, например, знаменитым ученым. И отец будет спрашивать: «Кто этот великий физик нашего времени? Вы не знаете, чей он сын?»

А Сергей скажет: «Я вырос без отца. Но у меня был учитель Архимед, который говорил: «Дайте мне точку опоры — и я переверну мир!»

Сколько бы времени ни прошло, Сергей все так же

будет помнить закрытые ворота в чужом городе, похожие на букву «М».

Все теперь стало другим. Но вот одна поездка с отцом в горы осталась в памяти такой же, как была.

Это было давно, когда Сергей еще не учился в школе. Странно даже, что он так запомнил эту ничем не примечательную поездку в горы.

Отец его был горный инженер.

Они ехали вдвоем на одной лошади. Впереди сидел отец, а за его спиной Сергей. По тропинке, по которой ни одна машина пройти не могла. А лошадка, которую звали Тихая, могла...

Не надо было только мешать ей. И она сама шла по тоненькой тропинке до самых облаков.

Куда они ехали?

Этого Сергей не знал, не помнил, потому что это было давно.

Неизвестное всегда возникает в конце, как в задачах Нагорного.

Клубится над головой, как облака в горах, или сворачивается створками, как ворота в чужом городе.

Горы были разные. Внизу росли леса, потом шли альпийские луга, а дальше были только камни и высоко над ними снег и облака.

Еще в горах была пещера. Она начиналась весело, солнечными зайчиками, родником, паутинкой над входом и гулким эхом из глубины.

Пока отец поил лошадку и подтягивал седло, Сергей сделал несколько шагов в глубину пещеры, и его охватили полумрак, прохлада, тайна. Он еще видел в светлой солнечной горловине пещеры отца, лошадку, свет.

Отец позвал его.

А он не откликнулся.

Пещера затягивала его в свою глубину. Тишина в ней была удивительная.

Сергей спрятался в пещере. Нет, он не потерялся. Он просто спрятался. Отступил еще дальше, чувствуя, как стучит его сердце, отдаваясь эхом под сводами.

Сергей ощупывал камни руками, натываясь на выступы головой; ударился коленкой о стену, пробирался все дальше в глубину.

У него было такое чувство, что потеряться он не может, что он знает эту пещеру, помнит ее, хотя он был в ней в первый раз. Если бы у него спросили, сколько времени прошло с тех пор, как он забрался сюда, он не мог бы ответить.

Отец наконец разыскал его, вытащил на свет и спросил:

— Почему ты не откликнулся, когда я тебя звал?

И Сергей ответил:

— Не знаю...

Там был странный запах — йода, сумрака и воды. Как будто сумрак можно было распознать ноздрями, даже закрыв глаза. И пока он оставался в пещере, ему не было страшно. Как будто неизвестное было ему хорошо знакомо.

Он вынес из пещеры камешек, голубой как морская вода. Отмыл его в ручье. А так как отец торопил его, то Сергей сунул камешек за щеку. Он был прохладный, гладкий и чуть солоноватый. Сергей и сейчас чувствовал этот вкус на языке.

— О чем ты мечтаешь? — раздался над ним голос Нагорного. — И где ты витаешь? Подумай!

Сергей взглянул на Архимеда удивленными глазами.

— Самая простая задача, — продолжал Нагорный. — Надо только вспомнить...

— Я вспоминаю, — ответил Сергей.

Перед ним лежал чистый лист.

ФИЛИН

Филин зарыл ружье под деревом и лег на землю от усталости. Теперь надо было собраться с силами и доползти до сторожки лесника.

В глазах плыли красные круги, в висках стучало... Филин выругался и закрыл глаза. Вспомнил, что в кармане остался нож, вытащил его с трудом и швырнул в болото.

А в это время участковый уполномоченный Нуралиев показывал леснику Пряхину фотографию Филина и говорил:

— Если заметите портретное сходство, сообщите в милицию.

Участковый уехал на своем мотоцикле, а Пряхин положил фотографию Филина на полочку. Фотография встревожила Пряхина. На него смотрел, как бы прицеливаясь, прищурив левый глаз, не молодой, но и не старый человек. Одет он был в замшевую куртку, гладко выбрит, похож на деревянного божка. Встреча с ним ничего доброго не сулила.

Пряхин предполагал, что Филин прячется где-нибудь у Черных Камней. И место глухое, и оленья тропа рядом. Кто его там найдет? Кто, кроме Пряхина? А встреча с браконьером в лесу опаснее, чем встреча со зверем. Нападает первым, если видит, что уйти нельзя. Пряхин осмотрел свою бывалую винтовочку и задумался.

Надо сначала убедиться в том, что Филин действительно обосновался в заповедном лесу, а потом уже решить, как действовать. Вечером он вышел из своей сторожки и ни слова не сказал Марине. Незачем ее раньше времени тревожить.

Ярик, черный волкодав, проводил его до ворот, вернулся и лег у порога.

Ночью Филин дополз до сторожки лесника. Дотянуться до окна он не мог. Набрал в горсть песку и камушков и бросил в стекло.

— Кто там? — спросила Марина.

Ответа не последовало.

Марина в накинутом на плечи пальтишке с фонарем в руках появилась на пороге.

Филин лежал на земле под окном без памяти.

Ярик стоял рядом с Мариной, касаясь ее колен своей головой, и глухо рычал. Она удерживала его за ошейник.

Марина сначала испугалась незнакомого человека. Но потом увидела, что он болен...

Когда-то она работала в больнице, и у нее в сторожке была своя аптечка. Она втащила Филина в горницу, уложила на топчан, стянула с него сапоги и укрыла теплым одеялом.

Филин впал в беспамятство. Черты лица его одеревенели. Он не разжимал губ и не произносил ни слова.

Всю ночь Марина просидела рядом с Филином. Один раз среди ночи он очнулся и увидел прямо перед собой огромный, как ему показалось, красный тюльпан.

Жар не проходил. Его трясла тяжелая азиатская лихорадка.

Прозвище Филин он получил за то, что выходил на промысел по ночам.

К утру ему стало легче.

— Жарко? — спросила Марина.

— Холодно, — ответил Филин.

У него от озноба не попадал зуб на зуб.

За две недели в лесу он так оброс, что его невозможно было узнать. «Оно и к лучшему», — думал Филин.

— Ты кто ж такой? — спросила его Марина.

— Так, — ответил он еле слышно. — Прохожий...

В лесу он пробовал лечиться спиртом, пока был спирт и пока хватало сил. А потом, когда не стало ни того, ни другого, зарыл ружье и пополз на свет в окошке.

— Может, сообщить надо? — спрашивала Марина. — Родным или знакомым?

— Чего их тревожить, — отвечал Филин. — Отлежусь, поправлюсь...

Красный тюльпан, испугавший его вначале, был ночник на полке.

Марина поила его лесным отваром и хинином.

Филин все хотел спросить Марину про лесника, но не решался. Наконец спросил:

— А где же сам-то?

— В лес ушел, — ответила Марина. — Говорят, браконьер какой-то объявился. Филин у него прозвище. Слышал?

— Нет, не слышал, — ответил Филин. — Я не здешний.

— А как же ты сюда попал? Место у нас далекое...

— С дороги сбился. Концы в городе остались, — сказал Филин и осекся.

— Ничего, отыщутся, — успокоила его Марина.

Филин лежал, вытянув руки вдоль тела, и смотрел на Марину. Сколько ей лет? Тридцать? От силы. В доме тишина. Часы стучат на кухне. Полотенце с вышитыми зубчиками по краю.

Пряхин браконьера в лесу ищет. А он, вот он где! Вор-рецидивист и браконьер тоже, по случаю. Без имени, одна кличка — Филин!

— Бриться будешь? — спросила Марина, заглядывая в комнату.

— Погожу, — ответил Филин.

Огромный волкодав Пряхина лежал у его кровати. Марина рассказывала Филину про Филина, и он слушал ее, не перебивал.

— Пустой человек! — говорила Марина. — Сколько лет в лесу оленей не было. Теперь разводить стали. Красота. А он стреляет. И для чего? Рога на вешалки продает. Лакирует и продает. Тупой человек!

Филин слушал и думал: «И за большие деньги».

Когда он в первый раз поднялся, то сразу заметил свою фотографию на полке.

— Кто это? — спросил Филин.

— Филин, — ответила Марина. — Тот самый..

Филин засмеялся:

— Похож на меня.

— Да нет, — ответила Марина, взглянув на Филина. — Портретного сходства не вижу.

Филин даже обиделся и подумал, что за время болезни он сильно переменялся.

— Откуда у вас эта фотография? — спросил он.

— Участковый привез.

Нуралиева Филин знал хорошо. После того как Филин вышел из заключения, он определял его на работу в городе. Смех... И тут как раз подвернулся случай. И снова пошла прежняя жизнь.

Оленя надо было выследить, снять и рога переправить в город так, чтобы никто не заметил. А рога огромные... Зато и платят хорошо. Филин поглядел на Марину. Волкодав потянулся, выставив лапы вперед, и тряхнул каменной головой.

Марина вдруг спросила:

— У тебя дети есть?

— Никого у меня нет, — ответил Филин.

— Что ж так живешь?

— Как могу...

Филин оглядел жильё лесника.

Небогато живет.

Никому никогда не завидовал Филин. А тут, глядя на Марину, на этого каменного волкодава, который не отходил от нее ни на шаг, на этот хрупкий светильник на стареньком комодe, он вдруг почувствовал такую тоску, что жить не хотелось.

Если бы не Марина, сдох бы он в лесу. И никто бы не вспомнил.

На стене висела фотография мальчика в матроске.

— Сын? — спросил Филин.

— Сын, — ответила Марина.

— Портретное сходство, — сказал Филин.

Он протянул руку к фотографии. Но Ярик почему-то глухо зарычал на него.

Филин отвернулся.

— Где ж сын? — спросил он Марину.

— Учится, — ответила она, — в городе. Жду!

На рассвете Филин поднялся. И сказал, что уходит.

— Ждут меня, — сказал он и усмехнулся.

Но почему-то вспомнил, что три года назад дружок его Венька руки на себя наложил. Жена у него была, двое детей... Тосковал очень...

Марина его не удерживала, только смотрела на него во все глаза. Сгорбленный, он был похож на филина.

На пороге обернулся и сказал:

— Передай Пряхину, что у переезда под деревом Филин ружье зарыл. Пусть возьмет себе на память.

Ярик проводил его до порога, вернулся и лег у ног Марины.

ПЕРВЫЙ РЕИС

Через переезд между закрытыми шлагбаумами проследовал скорый поезд. Надписи на его боках из-за темноты разглядеть было невозможно.

Мимо станционных тополей пролетали электрические окна. За белыми занавесками шла своя транзитная жизнь, такая заманчивая, если посмотреть на нее со стороны. На площадке последнего вагона горели красные огоньки.

— Эх, хорошо, кто понимает, — сказал шофер Горелов. — Хорошо бы теперь завалиться на верхнюю полочку...

— Давай, давай, — торопил его экспедитор Сорокин. — Не разговаривай на переезде. Вон шлагбаум подняли, а у тебя мотор заглох.

— Заглох? — рассердился Горелов.

И выдавший виды грузовичок, доверху набитый тюками, ящиками с прозодеждой для работников заповедника, накрытый добротным брезентом и увязанный по всем крюкам белой скрученной веревкой, перелетел через переезд и с ходу взял крутой подъем перед бетонкой.

— Ведь это надо ж, — говорил Горелов. — Такой подъем и прямо перед железной дорогой. Что ты делаешь? Рельеф! Сильно пересеченная местность... Тут зимой такая горка, только держись. Того и гляди, очки разобьешь.

— А ты смотри как следует, — ответил Сорокин, поправляя очки в золотой оправе на переносице.

— Да я-то все вижу, — сказал Горелов. — Только очки — вещь непрочная, особенно в дороге...

На бетонке стало тихо. Мотор не гудел, не скрипел кузов, нигде ничего не заваливалось. Сорокин вытащил из кармана платок, снял очки, протер стекла и сказал:

— Черт тебя знает, Горелов! Лет тебе, наверное, всего двадцать с небольшим, а ехидства хоть отбавляй.

Горелов был польщен.

— Так я что! — сказал он. — Я ведь о тебе забочусь. Чтоб очки по крайности не разбить. А мне что! Вот у Ноткина очки были. Это да! Окуляры... А разбились!

Ноткин был бухгалтером заповедника. Сорокин с ним познакомился недавно. А Горелов всех знал давно.

— И что ты ко мне пристал с этими очками! — сказал Сорокин. — Протер бы лучше стекла в машине. Глядеть противно...

— Это верно, — согласился Горелов. — Надо протереть. А может, дождичек прихватит?.. Вот у меня какой случай был. Хочешь расскажу? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Еду я на базу с Крутиковым. Он еще до тебя тут работал. Его потом за недостачу осудили. На три годика... Слыхал?

— Ну?

— Вот тебе и ну! На три годика, как миленького. А тоже был хороший человек. Мы с ним песни в дороге пели. Даже на заправочной, пока очередь дойдет, пели. Настя нас называла дуэт. Это, когда двое вместе хорошо поют, называется дуэт.

— Знаю!

— Знаешь? Только я к делишкам Крутикова отношения не имел... Мне желательно мир поглядеть. Детей у меня нету, жены покамест тоже нет. Вот покручу баранку еще немного, а там сменю профессию. Поступлю во флот — увижу весь мир. Как думаешь, примут меня во флот?

— Отчего ж не принять? Парень ты разговорчивый.

Горелов покосился на Сорокина и подумал: «Один—ноль». Он всегда считал в уме очки, если с кем-нибудь соревновался в разговоре. Настя, например, всегда верх брала...

— А что ты думаешь? Махну во Владивосток и поступлю на сухогруз!

Очень ему нравилось это слово: сухогруз! Тут на машине под дождичком, по снегу и грязи колобродишь, а там по морю и как по суху! Хорошо...

— Куда ты поворачиваешь? — закричал вдруг Сорокин. Горелов свернул с бетонки на проселочную дорогу.

— Объезд, — объяснил он. — Понятно? Это даже без очков видно.

Сорокин уже заметил дорожный знак объезда, высветленный фарами грузовика на обочине.

— Почему же здесь объезд? — спросил Сорокин.

— А кто его знает? — ответил Горелов. — Может, дорогу ремонтируют, а может, олени на шоссе отдыхают. Егеря дорогу перекрывают, чтобы заповедных животных не беспокоить. Тут, брат, от природы милостей не жди! Условия работы приближены к естественным... Заповедник!

Машина плавала на ухабах разъезженной дороги. Скрипели доски кузова, очки Сорокина сползли с переносицы.

Ночь как будто стала светлее. Однако начался дождик. На бетонке расположилось семейство пятнистых оленей. Они преспокойно посматривали на машину, которая ныряла между рытвинами поодаль от дороги.

— Если к ночи приедем, скажи спасибо, — ворчал Горелов. — Видал оленей? Хорошо! Два года назад завезли, ничего не боятся. Чувствуют, что здесь их царство, а мы с тобой вроде марсиан, что ли, как будто с другой планеты.

— Ты думаешь, только к ночи приедем?

— Я не думаю, я знаю...

В это время машину так трянуло, что очки Сороки-

на сорвались с одной дужки, и он едва поймал их на лету.

— Спрячь их в карман, — сказал Горелов, — убери с глаз долой...

По крыше шоферской кабины забарабанил дождь. Горелов как будто только этого и ждал.

— Ну, порядок, — сказал он, — теперь где-нибудь сядем как пить дать.

— Что значит сядем? — рассердился Сорокин.

— Это ты у Крутикова спроси, — сказал Горелов и подумал: «Один — ноль в нашу пользу!»

— Так вот, я тебе хотел рассказать, какой у меня случай в дороге был, — продолжал говорить Горелов. — Едем на базу. Дорога, значит, в гору идет. А навстречу нам зеленый самосвал движется. Что такое, думаю? Шофера не видать. Машина сама идет, понимаешь? Я сворачиваю вправо — и она туда же, я налево — и она за мной. А расстояние между нами четыре копыта, и все врозь! Крутиков кричит: «Бросай машину, авария!» А я думаю, что такое? Где же шофер? Съехал в кювет, а самосвал промахнулся, мимо пролетел и остановился на ровном месте. Смотрю, шофер бежит, хворостиной размахивает. Оказывается, он оставил машину на пригорке, а об нее олень спину почесал и столкнул ее, она и поехала... Понял?

Машина легко заваливалась на левый борт и стала съезжать в кювет. Колеса забуксовали в глине, и Горелов выключил мотор.

— Сели! — сказал он с облегчением и вздохнул.

Горелов и Сорокин вышли из машины. Было темно, и тишина стояла необыкновенная. Только мелкие капли шлепали по лужам. Парусиновые туфли Сорокина сразу промокли.

— Полный порядок! — сказал Горелов. — Ты вот зачем везешь прозодежду, подумай! Там у тебя резиновые сапоги, плащи, капюшоны. Ты думаешь, это для других,

а сам проживешь налегке? В парусиновых туфельках? Не пройдет!

Сорокин думал, что будет работать в заповеднике, на лоне природы. И в отпуск ездить не надо. Вроде дома отдыха на свежем воздухе. Потому и пошел на эту работу.

Еще не освоился с условиями. Первый рейс...

Горелов вытащил из-под сиденья в кабине топорик, нарубил веток в кустах у обочины и велел Сорокину подкладывать ветки под колеса, а сам сел за руль.

Когда он включил мотор, на Сорокина обрушился шелестящий и непрерывный поток грязи. Колеса крутились в обратную сторону.

— Горелов! Чтоб тебя... — заорал Сорокин.

Горелов выключил мотор, отворил дверцу и выглянул из кабины:

— Это ты кричал?

Машина стала съезжать набок и сильно накренилась.

— Заводи! — закричал Сорокин.

Но Горелов не торопился. Он опять отправился рубить ветки.

— Да, — сказал он, любуясь на облака, — если машина опрокинется, нам с тобой не отчитаться...

— Заводи! — опять заорал Сорокин.

Горелов нырнул в кабину, и все началось сначала.

Сорокин забыл, когда он надел или снял очки, но в тот миг, когда машина начала выбираться из этой чертовой ямы, он яростно подставил свое плечо под кузов.

Машина выпрямилась.

Сорокин побежал вперед, шлепая по лужам, рванул дверцу, вскочил на подножку и сказал:

— Поехали!

— Постой, постой, — ответил Горелов. — А где очки?

— Черт с ними! Поехали!

— Нет, нет, нет, — продолжал Горелов. — Это же осень только, а впереди еще и зима, и весна... Так что ты очками-то не разбрасывайся. Пригодятся для курорта или для дома отдыха...

Он взял фонарик и пошел посветить на дороге.

— Да вот же они, — сказал Горелов. И вытащил из лужи за тоненькую дужку очки Сорокина.

Сорокин хотел выйти из кабины и вдруг увидел прямо перед собой пятнистого оленя, который, склонив рог, почесывал спину о грузовик.

От неожиданности Сорокин подался назад и задел рукой стартер. Машина взревела и тронулась вперед. Сорокин вцепился в руль руками. И слышал, как слева бежит олень, а справа догоняет его Горелов.

Наконец Горелов ввалился в кабину и сказал:

— Ну ты даешь! Оленя перепугал... Видишь, как он на тебя смотрит.

Олень заглянул в кабину и скрылся в чаще.

Машина выбралась на бетонку. Дорога была пустынная. Только в хвосте за ними плелся бензовоз. За поворотом вспыхнула огнями красно-белая заправочная станция.

— Что везешь? — спросила Настя, поднимаясь на ступеньку и заглядывая в кабину. — Здрасьте!

Тут она увидела Сорокина и, покосившись на него большими, как ему показалось, оленьими глазами, спросила:

— А это кто? Новый, что ли?

— Первый рейс! — сказал Горелов.

И вдруг Сорокин засмеялся.

— Какой я новый, — сказал он. — Стар я стал...

Он снял очки и спрятал их в карман.

Настя спрыгнула с подножки и крикнула Горелову:

— Эй, солист, проезжай!

...На рассвете осторожно, чтобы не разбудить усталого Сорокина, Горелов свел машину с горки и остановился у переезда.

— Эх, хорошо, кто понимает! — сказал он и сладко потянулся.

Через переезд между шлагбаумами проследовал скорый поезд Москва—Владивосток.

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

Наша машина приближалась к Кушке. Мы уже миновали Тахта-базар. Время стояло летнее, июнь месяц. Встречный ветер обжигал губы.

Было это вскоре после окончания войны.

Позади нас, то приближаясь, то отдаляясь, пылил «виллис». Наша полуторка была старая, разбитая, и «виллис», если бы хотел, шутя обошел бы нас, но была какая-то причина, заставлявшая шофера ехать осторожно, объезжать рытвины и часто сворачивать на обочину.

В такую жару ни о чем не хочется думать, ни о чем не хочется говорить. Потому что первое, что придет в голову, будет мысль о воде... А воду пить в пути не следует. Наши походные фляги были наглухо завинчены. И только их тяжесть напоминала нам о неизрасходованном неприкосновенном запасе.

— Для кого же этот неприкосновенный запас? — спросил я, обращаясь к инженеру Плетневу.

— Для друга, — в тон мне ответил Плетнев. — Есть у тебя друг?

— Догоняет, — сказал шофер Илюша, кивая головой на «виллис», появившийся совсем рядом.

Теперь можно было различить в «виллисе» кроме шофера двух военных и одного штатского.

— Поэта везут, — сказал Плетнев, оглядываясь.

— Почему вы думаете, что поэта? — спросил я.

— Да лицо у него такое, суровое, — сказал Плетнев. — Вон Карташов, майор, рядом с ним. И еще кто-то, не разберу. Да это лектор из Дома офицеров. Кажется, Иванченко. Я его слышал в Ташкенте. Он и говорил: «К нам поэт-фронтовик приехал поэму писать». Вот что такое Кушка! Только фамилию поэта забыл...

— А вы говорите, штатский, — заметил Илюша.

И вдруг «виллис» остановился. Видно было сквозь пыль, как поэт вышел из машины и лег на жесткую траву. Майор Карташов отстегнул свою флягу и наклонился над ним.

— Ну, конечно, поэт, — сказал Плетнев. — Своей фляги нету. Такие вот дела...

К вечеру мы приехали на разъезд. И решили остановиться на ночлег у нашего старого знакомого Саидмурада, железнодорожника. Он жил в каменном доме под деревьями. У него во дворе был колодец. А ночевали мы под открытым небом.

Когда-то, говорят, была такая удивительная профессия — продавец тени. Человек строил особенный прохладный дом у дороги или на базаре, и многие путники благословляли его труды. Саидмурад не был продавцом тени, он был просто гостеприимным хозяином. И мы всякий раз благословляли тень его виноградников, когда нам случалось останавливаться у него.

Едва мы только успели умыться и приготовить чай, как к воротам подъехал пропыленный «виллис». Из машины вышел майор Карташов, следом за ним показался лектор Иванченко. Вдвоем они помогли выбраться и поэту. Он был крепок в сложении, но совершенно изнурен дорогой. Ни вода, ни деревья, ни тень как

будто не привлекали его. Он двигался как-то неуверенно.

— Что с ним? — спросил Плетнев, поздоровавшись с Карташовым.

— Не спрашивай, — ответил Карташов тихо.

— «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем», — сказал шофер Илюша, когда мы отошли в сторону.

Машина у нас была гарнизонная. И вел ее шофер Илюша, бывший фронтовой водитель. Он знал решительно все и всех. Генерала Петрова называл по имени и отчеству — Иван Ефимович.

Он был ранен где-то под Воронежем. Но лихо крутил баранку, хотя по временам ложился в госпиталь на поправку. «Эти стихи у меня не в памяти, а в теле сидят», — сказал он Плетневу.

Ночь в пустыне наступает внезапно. Все громче и громче стрекочут кузнечики, летят мохнатые бабочки на свет, огромные звезды выступают на небе, и тьма опускается на землю. Постепенно холодеют пески, континентальный ветер шевелит листвой.

Проснулся я от холода, какой бывает в пустыне ночью — колючий и резкий. И увидел, что поэт в белой рубашке полулежит на тахте. Над его головой горит слабая электрическая лампочка под газетным колпаком. В руках у него тетрадка и карандаш.

Илюша спал, навалившись небритой щекой на кулак. Плетнев укрылся одеялом с головой.

— Не спишь? — спросил меня поэт. — А ты спи. Еще рано. И ничего еще не написано, — продолжал он говорить как будто с самим собой. И, не обращая внимания на меня, отбивал такт рукой: «Шаг упрямый, шаг тяжелый, шаг походный. По колено пыль, по пояс пыль, по грудь. До пятидесяти градусов сегодня поднимается рас-

плавленная ртуть». Дальше шла речь о песне. О том, что в песках трудно петь. Так казалось поэту, впервые попавшему в пустыню.

Но вот что удивительно. В эту самую минуту Саидмурад, собираясь на работу, запел. Было уже пять часов утра. Поэт перестал читать стихи, прислушался и свернул тетрадку.

— Что он поет? — спросил поэт. — Ты можешь перевести?

Эту песню Саидмурад пел всегда. И я знал, о чем она. В ней говорилось о голубе, который перелетел пустыню и принес на крыльях ветер с моря.

Поэт читал свои стихи в гарнизонном клубе. Представлял его майор Карташов. За столом президиума сидел лектор Иванченко и собирал записки в маленькую неровную пачку, чтобы потом передать их поэту.

Плетнев слушал внимательно, все время оборачивался, оглядывал зрительный зал и повторял громким шепотом:

— Видишь, я оказался прав. Это действительно поэт. В первый раз вижу настоящего поэта!

Поэт читал стихи про фляжку: «Тень какая от припущенного флага, и какая от штыков граненых тень. С теплым чаем алюминиевая фляга оттянула, как свинцовая, ремень».

«Значит, у Карташова во фляге был теплый чай? — подумал я. — Что ж я ему свою флягу не отдал? С чистой и прохладной водой. Мой неприкосновенный запас! Вполне можно было отдать поэту. Не догадался, не сообразил... А теперь уже поздно».

Дальний гарнизон слушал поэта строго и внимательно. Он перелистывал свою тетрадку, пропуская какие-то страницы.

...После того как вечер окончился, поэта окружили солдаты и офицеры. Он разговаривал с ними долго, был бледен и прям. Казалось, он с трудом преодолевал свою боль.

— Дальний гарнизон всегда ближе к будущему, — сказал он, обернувшись на чей-то вопрос.

И тогда к нему обратился наш шофер Илюша.

— Я читал вашу книжку, — сказал он. — Но не думал, что доведется увидеть вас здесь. Так что, если можно, хотел попросить у вас стихи на память. Могли бы и на фронте встретиться, как на дальнем гарнизоне.

Поэт задумался на секунду. Потом достал из кармана маленькую книжечку.

— Это единственная, — сказал он. — Неприкосновенный запас. Но вам я ее отдам!

Книга называлась «Однополчане».

Поэт надписал свое имя...

И снова над пустыней опускалась ночь. И снова над песками плыла песня. Дальний гарнизон сменял караулы. И одинокий голубь летел через барханы.

РАЗЪЕЗД

Одно время Ногайцеву казалось, что он влюблен в Люсю, и он просиживал целые вечера в буфете на полустанке. Поезда проходили за окнами, один за другим, без остановок. Люся провожала их глазами.

Белый передник очень шел к ее темному платью.

У Люси волосы выгорели на солнце, а сначала Ногайцев думал, что крашенные.

Говорили, что у Люси была любовь с Нефедовым. Ногайцев старался об этом не думать.

Люся уговаривала его уехать отсюда. И когда она

так его уговаривала, он думал: «Была, значит, любовь, оттого и хочет уехать...»

Ногайцеву было двадцать шесть лет. Но жизнь его все не складывалась почему-то. Чего-то словно не хватало. Трудно решить...

Работал в разных городах, перепробовал много разных специальностей. Ездил, строил, служил в армии.

И на конезавод в Средней Азии попал по договору, на три года.

Можно и раньше уехать; можно и навсегда остаться.

А Люся не советчица. Заладила: уедем да уедем... А он уже был там, куда она ехать собиралась.

Всюду хорошо...

Ногайцев работал мотористом на фуражном дворе. Работа не тяжелая, и платят хорошо. К тому же он с детства любил коней. А работать приходилось все больше с машинами.

Однажды он поехал за песком на реку. И встретил учетчицу Дину. Она вела в поводу прекрасного коня.

Поздоровались.

Ногайцев остановил машину, вышел из кабины посмотреть на коня. Прекрасный был конь, призовой ахалтекинец, кровный. Дина спросила, почему он не приходит на круг. Круг — это огороженное пространство, где объездчики для повышения квалификации проходили школу верховой езды.

Уроки давал главный ветеринар завода. В молодости он был жокеем, в заездах участвовал, на бегах призы брал. У него остались от тех времен цилиндр и фрак, а главное — стек, палочка с ременной петелькой на конце. Фамилия его была Караванов.

Собираясь на круг, Караванов напевал песенку: «Оседлаю коня, коня быстрого, я помчусь, полечу легче сокола...»

И еще в той песенке были слова: «...через поля, за моря, в дальнюю сторону, догоню, ворочу свою молодость».

— Приду когда-нибудь, — сказал Ногайцев.

Дина поднялась в седло. Была она маленькая, в мужском костюме и в широкополой шляпе.

— Как хочешь, — ответила она.

И умчалась на своем прекрасном ахалтекинце. Не догонишь!..

А когда машина Ногайцева тронулась, ему показалось, что борта его полуторки громыхают на всю степь.

Выглянул он из окна кабины, а Дины уже нигде не было видно.

Далеко в степи паслись необъезженные кони. Особенно поражало Ногайцева то, что копыта у них длинные, отросшие и стоптанные, как старые башмаки.

Нравилось Ногайцеву смотреть, как работает Нефедов. Высоко подвязывают стремяна, пока еще лошадь стоит в станке. Потом выпускают ее на волю. Нефедов прыгает в седло. И стремяна превращаются в качалку, которая как будто висит в воздухе. Она словно не зависит от коня.

Нефедов легко наклоняется вперед, если конь поднимается на дыбы. И легко отклоняется назад, если конь вдруг падает на колени. Тут была какая-то бесстрашная механика, как в хорошей машине.

Неверно говорят, что настоящий наездник как бы прирастает к коню. Нефедов почти не касался седла в самые опасные минуты.

— Ты сначала падать с коня научись, — сказал Нефедов, когда Ногайцев изъявил желание стать объездчиком.

Для начала ему дали спокойного, но злого скакуна по кличке Уголек.

Ногайцев вдел ноги в стремена и приподнялся. Уголек пошел боком. Ногайцев ждал, что сейчас он пойдет вскачь. Но Уголек был холоден. И вдруг он понял, что Уголек ждет, когда Ногайцев испугается. И он не мог пошевелиться, чтобы утереть предательский пот со лба.

И тогда Уголек вдруг вспыхнул, вскинулся на дыбы и упал на колени. Ногайцев вылетел из седла.

День был душный. Солнце еще не поднялось высоко, но обжигало щеки. Ногайцев вскочил на ноги. И увидел, что Нефедов уже поймал коня и закидывает поводья на седло. Уголек поднимает голову и артачится.

К Ногайцеву подошла Дина и протянула ему свой платок.

— Боишься? — спросила она.

И у Ногайцева отлегло от сердца.

— Боюсь, — ответил он и засмеялся.

Платок Дины был прохладный, и от него пахло укропом. Ногайцев почему-то вспомнил детство на даче.

Дина подошла к Угольку и похлопала коня по шелковым щекам, погладила его живую шею. И вдруг поднялась в седло. Нефедов бросил ей поводья и отошел в сторону.

Уголек знал Дину и кивал головой. Она направила его к Ногайцеву. И конь остановился рядом с ним, косясь на него лиловым умным глазом.

Вечером Ногайцев вдруг пригласил Дину в клуб на танцы. Она удивилась, но пришла. Немного опоздала...

Музыка уже гремела всюду, народу было много. Но Ногайцев ее сразу увидел издали, узнал ее •длинные глаза.

Танцевал он неважно. Старался ни о чем не думать.

И все же следил за наглым угольком сигареты Нефедова, который сидел в кресле в углу и смотрел, как Ногайцев танцует с Диной.

Караванов разговаривал с кем-то у двери. Ногайцеву показалось, что с Люсей.

Поздно вечером Ногайцев проводил Дину домой. Они долго стояли у калитки, негромко разговаривали про Караванова, про песни, которые он любит.

Ногайцев наклонился и поцеловал Дину. Увидел близко ее глаза.

Она отвернулась и сказала:

— Тебя Люся спрашивала... Она уезжает, Караванов просил передать.

Ногайцев обернулся и увидел, что Дина стоит у калитки и смотрит ему вслед.

Дорога, по которой он уходил, вела на полустанок. Большие звезды висели над головой. Было светло, луна всплывала на краю неба.

«Полечу, ворочу свою молодость», — напевал Ногайцев и удивлялся самому себе. Никогда прежде он не пел, когда ходил по этой дороге.

Издали он увидел яркий огонек сигареты Нефедова.

— Что так поздно? — спросил Нефедов выжидательно.

— Разве поздно? — ответил Ногайцев.

Дорога вела через степь, мимо обелиска на холме, где похоронен старый объездчик, отец Дины.

— Что давно не был? — спросила Люся, когда Ногайцев вошел в буфет и сел за свой столик у окна.

— Дела, — ответил Ногайцев.

Люся покрасила волосы и казалась моложе.

— Расчет взяла, — сказала она. — Уезжаю. Спасибо, что пришел. Попрощаемся.

Летом всякая ночь кажется короткой, если не спится. Ногайцев слушал, как перекликаются поезда. Если который-нибудь из них останавливался на полустанке, то лишь на несколько секунд.

Люся уехала ночным скорым. «Значит, не было любви, — подумал Ногайцев. — Оттого и уезжает...»

На рассвете Ногайцев вернулся в поселок. Он шел той же дорогой. И еще издали увидел Дину. Она все так же стояла у калитки.

Ногайцев подошел к ней и сказал:

— Я вернулся, Дина!

А она как будто не слышала этих слов.

КАРЬЕР

— На войне, конечно, не до природы было, — сказал Найденов, главный охотовед заповедника, когда мы с ним углубились в заповедный лес. — Не до того, конечно, — продолжал он, закидывая за плечо свою двустволку. — На войне, известное дело, все время занят: времени свободного нет. То землянку копать надо, то портянку менять приходится, то, например, в разведку пошлют, мало ли что. И стреляют к тому же... День и ночь пальба идет. Иной раз и уснуть нет никакой возможности. Только приляжешь где-нибудь, приходится менять позицию...

Говорил он все это, как-то насмешливо поглядывая на меня и все время прибавляя шагу. Я старался не отставать от него, но это было трудно. Сначала мы шли по

дороге, а потом свернули на тропинку, а там и тропинка кончилась. Мы шли по выгоревшей траве, через кусты, которые цеплялись за ноги.

Николай Егорович по бездорожью ходил скорее, чем по тропинке. И продолжал говорить:

— По правде сказать, я до войны о природе и не думал. Ну, знаете, природа тогда была для меня чем-то таким, что существует само по себе, независимо от меня. Так оно и было в то время. А потом вдруг выяснилось, что не я от нее, а она от меня зависит, понимаете? Выглянул я из окопа на рассвете после артиллерийской ночи и не узнал местности. Вчера перед нами ущелье было, а за ним горы. Теперь, смотрю, ущелья нет и горы вроде пониже стали. На юге тогда бои шли. Мой лейтенант Ширяев геолог по образованию был. Родом с Памира. Поглядел он на всю эту перемену и говорит: «Человек стал могучей геологической силой». Это — я потом узнал, когда уже сам учился в институте, — слова академика Вернадского. Геологическая сила! Понимаете? Может горы свернуть. Этим гордиться, конечно, надо, но следует и опасаться. Тогда я еще не все понял, но почувствовал что-то важное. Уж очень все наглядно было, если хотите...

Мы поднимались в гору. И Николай Егорович несколько не убавлял шага. Я старался не отставать от него, но сердце колотилось так, что я боялся пропустить какое-нибудь его слово. Приходилось цепляться руками за камни и деревья, потому что подъем был крут. В начале нашего разговора я сказал, что меня привела в заповедник не только командировка, но и «жажда знания»; Николай Егорович усмехнулся... Теперь меня томила настоящая жажда, но утолить ее тут, на пустынных жарких склонах, было нечем. Ни рек, ни ручьев, ни родников... Одни камни и жесткая сухая трава.

— Лейтенант был хороший человек, — продолжал Найденов. — Вскоре я попал в госпиталь. Потом был на-

правлен в другую часть. И потерял его из виду. Но слова его запомнил. Человек стал геологической силой, которой можно гордиться, но которой следует и опасаться. Это я понял очень хорошо, когда мы с ним в окопе сидели, а бог войны за одну ночь обратил вдруг ущелье в равнину и горы наполовину срыл. Конечно, на войне как на войне. Говорить не приходится. Наутро началось наступление, и мы перешли через ущелье как по мосту. Сколько шрамов война оставила на земле и в душах людских, не перечесать. Не было еще такой войны никогда. И какие силы должны быть в человеке, чтобы залечить такие раны? Может, тоже геологические? Глубинные, вечные? И то, что под силу одной природе, то под силу только народу. Они родня по духу и памяти. Вы не думайте, что это слова, это — моя биография. Ведь мы и свою родную историю после войны иначе почувствовали. Мой отец был офицером в армии Брусилова. Прежде я об этом не очень-то вспоминал. А в те годы, когда довелось мне в тех же местах сражаться, многое понял по-новому. У отца Георгиевский крест был, а у меня орден Славы. Так что мы с ним вроде в одном бою отличились...

Мы вышли на вершину. Внизу стлались зеленые склоны альпийских лугов, а вверху уступами и террасами громоздились горы. Николай Егорович остановился, дал мне отдышаться и даже присел на камень. Солнце зацепилось краем за гору и стало фиолетовым.

Найденов закурил папиросу, и дым взвился под его войлочной шляпой фиолетовым облачком. Хозяин заповедника был похож и на солдата, и на какого-нибудь университетского доцента биологии. Он держал сигарету длинными тонкими пальцами и смотрел на меня в упор.

— Вы спрашиваете, — продолжал он, — как я стал биологом и как попал в заповедник. А я вам расскажу еще одну историю. Стояли мы тогда лагерем под Брянском.

Немцы были близко. А на минном поле, которое нас разделяло, цвели ромашки. Затишье тогда было на фронте. На рассвете вышли на то минное поле лоси. Откуда они тут взялись, не знаю... Вышли не торопясь, без опаски, как будто и нет на свете никакой войны. Лосиха шла как в раю. И за ней два лосенка, тоненькие, как складные ножички. Взгляда оторвать было невозможно. Сердце сжималось. А когда грохнул первый взрыв, я лицом на землю упал. Не видел, что там дальше было. Да что говорить, забыл я про тех лосей. Совсем забыл. На войне не до природы было, некогда было думать. А потом вспомнил...

Найденов встал, бросил сигарету, притушил ее каблуком и поправил ремень ружья. Мы стали спускаться с горы, и я едва удерживался на ногах, потому что трава и камни были уже влажными от росы и тумана.

— Может быть, то, что я вам рассказываю, — говорит Николай Егорович, не оборачиваясь, — и не годится для вашей газеты, но мне все равно. Я за славой не гонюсь. Мне и так хорошо...

И он взглянул на меня краем глаза. В нашей газете только что была напечатана статья, в которой говорилось, что необходимо начать разработку Дельского карьера. А разработка карьера — это большие взрывы...

Найденов написал письмо в газету, в котором говорил, что он не против разработки карьера, но решительно против взрывных работ, которые представляют собой нарушение статуса заповедника. Потому что заповедник — это не только природное пространство со всей его флорой и фауной, но еще и резервуар государственной тишины. Так он и написал в своем письме: «Резервуар государственной тишины, в котором зреют голоса будущего...»

Мой редактор сделал пометку на конверте: «Интересное». И командировал меня в заповедник, чтобы я

взял интервью у Найденова. Оказалось, что взять у него интервью легче, чем отыскать его в горах...

Перед нами была огромная зеленая поляна. И вдруг из леса вышли лоси. Лосиха и следом за нею — два лосенка, тоненькие, как складные ножички.

Мы остановились. И мне показалось, что я впервые услышал государственную тишину заповедника. Лоси стояли на краю Дельского карьера и нюхали воздух. Солнце уже зашло, и карьер тонул в тумане. Только в самой глубине мерцали огни. И вырисовывались очертания охотничьего домика, в котором жил Николай Егорович.

— Пойдемте, — сказал Найденов. — Я думаю, вам надо подкрепиться перед отъездом. У меня отличный самаркандский чай. Зеленый. Утоляет жажду знания...

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Жегин был целеустремленным человеком. Когда ему встречалось затруднение, он его преодолевал.

Стоило только повисеть на кольцах вниз головой, как сразу же возникало оптимальное решение. Других решений он не признавал.

Жегин был известен в школе как будущий академик. Его призванием была астрономия. Ко всему прочему он относился снисходительно.

Астрономия и кольца были превыше всего. Еще Жегин почитал Гершеля, который открыл планету Уран. По примеру Гершеля Жегин производил систематический обзор звездного неба. С балкона шестого этажа...

Сначала он пользовался для этой цели театральным биноклем своей бабушки, но потом решил перейти к бо-

лее совершенной технике. Кольца были ввинчены в поперечную балку в прихожей. На них можно было раскачиваться, перелетая из прихожей в столовую. А когда Жегин висел вниз головой, бабушка знала, что он ищет оптимальный вариант...

Луна в театральном бинокле была неотделима от домов и веток, так что все становилось похожим на декорацию в оперном театре.

— Наука требует абстрактного видения! — сказал Жегин.

Бабушке нечем было крыть.

Жегин решил обзавестись полевым биноклем. На данном этапе это был оптимальный вариант.

Денег на полевой бинокль у бабушки не было. Но в отцовском кабинете, в самом углу шкафа, лежали фотографические объективы в картонной коробке. Коробка эта покрылась пылью и никому, по-видимому, не была нужна. А так как Жегин заботился только о науке, он не долго думая обменял фотографические объективы на очень хороший полевой бинокль.

Такой случай удачный представился.

Встретил он на улице возле комиссионного магазина человека в макинтоше.

— Ты чего несешь, мальчик? — спросил он у Жегина.

— Хочу сдать объективы и купить полевой бинокль, — нерешительно ответил Жегин.

— У тебя не примут, ты еще маленький. Паспорт нужен. Есть у тебя паспорт?

— Нет.

— Ну вот видишь... А зачем тебе полевой бинокль?

— Для астрономии, — неохотно сказал Жегин.

— Для науки? — воскликнул человек в макинтоше. — Тогда другое дело. Ну-ка, покажи объективы...

Жегин раскрыл коробку.

— Хороши, — сказал незнакомец. — Ну, давай, я те-

бе помогу. Тақ и быть, для науки, куплю тебе полевой бинокль, а объективы можешь сдать мне...

Так они и сделали.

— Дорогая вещьца! — сказал человек в плаще и скрылся в магазине.

Жегин даже не успел разглядеть его хорошенько.

— Наука не терпит промедления, — вздохнув, сказал себе Жегин и отправился домой с полевым биноклем в руках.

Но тут открылась пропажа объективов.

У Жегина был по этому поводу неприятный разговор с бабушкой. Во время этого разговора не один раз был упомянут Гершель, а также Уран. Выяснилось попутно, что бабушка понятия не имела о том, что у планеты Уран пять спутников...

Наконец бабушка где-то признала денег и выкупила фотографические объективы из комиссионного магазина. Затруднение, таким образом, было преодолено окончательно, и Жегин продолжал обзор звездного неба с помощью полевого бинокля.

Луна как бы отделилась от городского пейзажа, но еще была столь далека, что вместе с ней в поле зрения попадал обширный участок освещенного и как бы дымящегося пространства, которое казалось не научным, а сказочным.

И Жегин решил обзавестись подзорной трубой для продолжения научных наблюдений. К этому решению он пришел с помощью нескольких упражнений на кольцах, повисев некоторое время вниз головой. Решение было, несомненно, оптимальным. На данном этапе.

Но где раздобыть подзорную трубу? После истории с полевым биноклем Жегин стал осмотрительнее.

И тут снова представился счастливый случай.

У соседа Генки Перышкина была подзорная труба, и он согласился отдать ее на время Жегину. Но за

это Жегин должен был решать ему задачи по математике.

Жегин обрадовался: чего проще! И решил ему все задачи из первого домашнего задания в пять минут.

— Здорово! — сказал Перышкин. — Люблю науку! Так и быть, бери трубу, но чтобы завтра было как сегодня!

И Жегин помчался домой, прижимая к груди деревянный футляр с медными застежками, в котором лежала отличная подзорная труба!

— Откуда это? — испуганно спросила бабушка, увидев новую оптическую технику в руках своего внука.

Но Жегин успокоил ее, сказав, что Перышкин одолжил ему подзорную трубу из любви к науке...

Вечером, как только стемнело, Жегин увел бабушку на балкон и показал ей Луну в космическом пространстве. Луна была похожа на меловой срез, ноздреватый и чистый.

— Бог знает что! — сказала бабушка. — У меня даже голова закружилась...

Бабушка Жегина была худенькая, маленькая, носила мальчиковые брючки, а зимой в капоре и цветной шубке была похожа на подростка. Иногда они вместе ходили на лыжах за город.

Жегин знал, что бабушке понравится подзорная труба. Она очень хвалила Перышкина за то, что он помогает науке. Про уговор решать домашние задачи Жегин бабушке ничего не сказал.

Да и что тут говорить? Две-три задачки в день — и подзорная труба на целый вечер в полном твоём распоряжении.

— Может, еще что-нибудь решить? — спрашивал Жегин.

— Пока больше ничего не задавали, — отвечал Перышкин.

Однако вскоре Жегин стал поговаривать о телеско-

пе. Он приближался к новому оптимальному решению. И подолгу висел на кольцах головы вниз. Бабушка забеспокоилась.

Квартира была старенькая, заставленная вещами. С тех пор, как родители Жегина, ее сын и невестка, разъехались в разные стороны и жили теперь — один в Каракумах, а другая — в Крыму, она одна воспитывала внука.

А все-таки ей одной трудно было воспитывать будущего академика. В том, что ее внук будет академиком, она не сомневалась. Но, главное, балкон был маловат для телескопа. Ей и самой хотелось поглядеть на Уран и его пять спутников.

Телескоп был самым большим затруднением Жегина. И он не мог найти оптимального варианта...

Однажды Жегин пришел из школы раньше обычного и увидел, что бабушка раскачивается на кольцах и перелетает из столовой в прихожую. И понял, что она тоже ищет оптимальный вариант. На столе лежало незапечатанное письмо к отцу в Каракумы.

АПРЕЛЬ

Жеребенок родился в сырое утро апреля, когда все в доме еще спали.

В конюшне похрустывала солома, горел фонарь на столбе, освещая темные ременные вожжи, хомуты, густую гриву Арчи, которая осторожно распрямляла ножки и спину жеребенку, трогая его губами и жалея его.

За стенами конюшни слышался шорох и легкий стук капли. Там ширилось и росло утро.

Жеребенок шевелил ушами, но слушал только самого себя. Арча пофыркивала и дышала на него, когда он опускался рядом с нею.

«Ничего не бойся, ничего не бойся... Скоро наступит утро», — как бы говорила она.

И он прислушивался к тому, как вздыхает ветер за окном, и глядел, как вздрагивает свет.

Высокое продолговатое оконце наполнялось солнцем. И Арча знала, что сейчас откроется дверь и войдет тот, кого она ждала сегодня особенно нетерпеливо. Принесет воды, свежего сена, станет чистить денник и вдруг увидит жеребенка.

Но не сразу.

Арча заставит его подождать. Ведь этот жеребенок принадлежит ей.

И он будет терпеливо ждать, пока она отойдет в сторону, чтобы он наконец мог разглядеть его как следует.

«Он» был ее хозяин Тихон, совхозный бригадир. Она бывала с ним в полях, на лугах конезавода, на дальних пастбищах в горах. Возила его детей по двору, пока они не вырастали и не уезжали куда-то.

Теперь уже младший сын Тихона приучался к седлу.

Старшие сыновья тоже так начинали. Главное — уметь держаться в седле, все остальное придет само... Так считал Тихон.

И Арча шла ровно, покачивая в седле младшего сына.

— Учи, учи его, — говорил Тихон.

И она его хорошо понимала.

Младшего звали Мик. То есть звали его Михаилом, но когда он был маленьким, то сам себя называл Миком. Это имя к нему и пристало.

Однажды Мик подобрал с земли прутик и, взобравшись в седло, взмахнул рукой. Арча наставила уши, вскинула голову и пошла по кругу валкой рысью.

Мик выронил прутик и прильнул головой к ее шее. Так-то лучше!

И она тихо остановилась.

Когда Мик подрос, его надо было каждое утро отвозить в селение и в половине дня привозить домой. Эта обязанность лежала целиком на ней. Тихон был ею доволен. Мик уже довольно хорошо сидел в седле. Арча шла степенным шагом и привозила его в школу как раз к началу уроков.

Дети в школу приезжали кто на лошади, кто на ослике, а некоторые даже в автобусе. Во время уроков, когда дети учились, лошади паслись на лугу и отдыхали, а машины разъезжались в разные стороны.

Арча узнавала по звуку последний звонок и сама шла к крыльцу, где ее уже ожидал Мик.

Он говорил:

— Домой!

И Арча отвозила его домой.

Был у Арчи враг — огромный черный пес Юлбарс, который всегда цеплялся к ней и лез в драку.

Сам он целыми днями валялся в пыли где попало.

Хуже всего было то, что Мик начинал размахивать школьной сумкой. Ему казалось, что этим он испугает или отгонит Юлбарса.

А тому только этого и надо было. Он кидался на Арчу и пытался стащить с седла маленького всадника.

Арча сердилась. Она поворачивалась то одним, то другим боком, ожидая, когда черный пес сунется поближе, чтобы проучить его за дерзость.

Однажды Мик зацепил Юлбарса и выронил свою школьную сумку на дорогу. Юлбарс утащил свою добычу в кусты. Пришлось остановиться.

Юлбарс потерял голову от такого успеха. Наконец-то они остановились! И он стал кидаться на лошадь и на всадника то с одной, то с другой стороны.

Арча ждала, переступая с ноги на ногу, постепенно оттесняя Юлбарса к обочине.

И когда он наконец сунулся к ней, она так удачно поддела его задними копытами, что он кубарем отлетел в пыльные кусты. Мик съехал на шею лошади и вцепился в ее жесткую гриву, которая укрыла его с головой.

Больше Юлбарс был для них не страшен. Мик подобрал свою сумку, и они благополучно приехали к школьному звонку.

Грива у Арчи темная и густая. На ее белой шее она лежит, как темная хвоя на склоне снежных гор. Может быть, потому и называли ее Арчой. Ведь арча — это темная хвоя, которая укрывает путников от ветра и от зноя.

Когда Тихон открыл дверь конюшни, Арча повернулась к нему и вытянула шею. Она ждала его и смотрела на него огромными глазами. И знала, что с ним никого не будет сегодня. Даже Мика он не взял с собой. Пришел один.

Арча загораживала собою жеребенка.

Он принадлежал ей одной. И она хотела, чтобы Тихон это понял, и знала, что он поймет.

Тихон провел рукой по атласной шее Арчи и сказал: — Не прячь, не прячь...

И Арча медленно покачнулась, отступила.

Тихон увидел его.

Рядом с Арчой стоял золотой, как месяц, жеребенок. Арча подтолкнула его и снова вытянула шею, как будто хотела спросить Тихона: «Хорош?»

— Хорош, — сказал Тихон. — Так и назовем его: Апрель.

И они долго еще говорили друг с другом как старые друзья, которым надо вместе растить и воспитывать своих детей.

САФАР

Вертолет был настоящим чудом.

Вот она, технически осуществленная мечта человека о медленном полете и стоянии в воздухе.

Да, это было лучше всего — остановить вертолет на небольшой высоте... Или двигаться над крышами домов, над рекой, над полями. Сафар видел, как сверкает вода в бороздках поливного хлопчатника, видел даже верблюда на холме у старого мазара.

А вот и стройплощадка в степи.

Задание у Сафара было самое простое. Он должен был поднять и установить железные перекрытия новой школы.

Дом строился сверху!

Были установлены только опорные углы, и на них воздвигалась крыша. А потом под крышу подводились стены... Очень просто!

Сафар остановил вертолет над стройплощадкой, открыл дверцу и крикнул вниз:

— Мирсаид! Доброе утро!

Мирсаид помахал рукой и ответил:

— Здравствуй, Сафар!

Вертолет был послушным, как добрый слон. Только этот слон был летающим. Вот он зацепил железную конструкцию и поднял ее в воздух. Сафар медленно передвигался над стройплощадкой, поглядывая вниз, и видел здание новой школы.

Мирсаид помахал ему рукой и указал жестом вправо. И Сафар отодвинул машину немного вправо.

А внизу, на опорных углах здания, стоят монтажники и готовятся принять железную конструкцию крыши, чтобы установить ее на место.

Сафар улыбнулся. Удивительная техника!

Крыша сверху на дом опустилась, как шапка на голову!

Вертолет парил на птичьей высоте.

Однажды он оказался наравне с орлом. Они летели некоторое время рядом. И вдруг орел взмыл выше и отделился от Сафара. Тогда Сафар тоже поднялся выше.

Но орел не хотел уступать. Он взмахнул крылами и поднялся еще выше.

И Сафар опустил машину...

Теперь орел летел один навстречу солнцу. И Сафар смотрел на него с улыбкой. Такой маленький и такой гордый.

Настоящий орел!

С птицами у Сафара были особые отношения. Он всегда радовался, когда видел рядом со своей машиной обитателей неба.

— Равенство с птицами возвышает технику, — говорил Сафар.

И компас, как птица, трепещет острым крылом.

Теперь все, или почти все, что происходит в районе, было известно Сафару. Он все видит собственными глазами, пролетая на вертолете над родными полями.

На белом перевале застряла экспедиция альпини-

стов. Надо было снять их с гор. Сафар вылетел утром и долго кружился над перевалом, пока, наконец, не заметил красную палатку на белом снегу.

День был ясный, безветренный. А накануне в горах бушевала метель и был большой снегопад. Опасались снежных лавин, и никакая другая машина не могла бы помочь альпинистам.

Сафар повис над стоянкой. Грохот винтов заглушал все голоса, и Сафар выбросил лесенку, по которой альпинисты могли подняться в кабину. Они вышли из палатки, закутанные в меховые куртки и одеяла.

Среди альпинистов была девушка в желтом свитере и темных очках.

— И охота вам на таком тихоходе летать? — сказала она, устраиваясь за спиной Сафара.

— Жаль, что годы летят быстро, — ответил Сафар и поднял машину к облакам.

Гульчехра, маленькая дочка пастуха Камила, заболела летом в горах. Об этом сообщили в город по радио. И на пастбище прилетел вертолет. Он опустился рядом с юртой. Лошади отошли подальше в луга и смотрели издали на странную птицу, у которой сверкающие перья крутились на спине вместо крыльев.

Когда Гульчехра выздоровела, Камил повез дочку домой в горы. Он шел по дороге пешком и вел за собой белую лошадь. На лошади в кожаном мягком седле сидела похудевшая Гульчехра и улыбалась встречным людям.

— Вот, — сказал Камил, — туда летели по воздуху, а домой идем по земле...

Высоко над деревьями пролетел вертолет. Камил и Гульчехра помахали ему вслед рукой. А белая лошадь кивнула головой и встряхнула гривой.

Однажды Сафар летал на Усть-Урт вместе с инспектором Тураевым искать опасного преступника. Этот преступник отстреливал муфлонов и увозил их в своей машине.

Мощные машины, скорострельное оружие — все это делает охоту непривлекательной для смелого человека. Другое дело — трус...

Вертолет, угрожающе накренившись, навис над преступной машиной. Она остановилась, из нее выпрыгнул плюгавый человечек, с которого почему-то сваливались штаны.

— Охотник! — сказал с презрением Тураев.

Сафар закрыл глаза, чтобы не видеть его, и вертолет качнулся, едва не раздавив эту проклятую машину землистого цвета, которая вся дрожала от страха.

У Сафара есть компас. Он никогда с ним не расстанется. Компас в черном металлическом корпусе на кожаном ремешке.

Сафар привез его из армии. И всегда берет с собой, когда улетает на своем вертолете в горы. По компасу он находит в небе верную дорогу домой.

— Все изменяется вокруг, — говорит Сафар. — Я сверху вижу: там появился новый город, там — канал. А мой компас указывает мне всегда один и тот же путь.

В начале марта Сафар летел над белым перевалом. В горах еще держался снег. Но весна была в разгаре. Сафару казалось, что шум мотора сливается с шумом воды.

И вдруг он увидел, как, обгоняя его, чуть выше машины, летят птичьи стаи. Они летели, будто по компасу, той же верной дорогой в родные края и селения.

МЕРГЕН

В степи качаются былинки. Испаряются радужные пятна мазута на асфальте.

И чем дальше идешь по дороге, тем легче идти, словно солнечная крепость вливается в тело. Ветер постепенно вовлекает в странную игру света и тени, так что даже собственные мысли становятся как бы частью пейзажа.

Я не сразу заметил серую собаку, которая увязалась за мной по дороге на станцию. Никогда раньше я ее не видел. Она появилась вдруг на железнодорожном переезде, где синие стрелы указывают: одна на северную ветку, другая — на южную.

Всякая неожиданная встреча в степи настораживает. Не понравилось мне, что эта собака прячет хвост, глядит исподлобья, опускает голову и не глядит в глаза.

Я попробовал заговорить с ней, но она от голоса вздрогнула и еще ниже опустила голову.

И вдруг взглянула на меня сухими желтыми глазами, не то что исподлобья, а как-то из-под свода, из-под спуда, словно что-то давило ее: недоверие, страх и еще что-то, что я назвал бы окаянством зверя.

«Волк!» — подумал я.

Но нет, это был не волк.

Нас с двух сторон обтекала овечья отара. Пастух в белой открытой на груди рубахе шел не спеша позади стада. За ним в отдалении бежала овчарка.

Увидев собаку, стоявшую передо мной, пастух присел, схватил комок земли, замахнулся и крикнул:

— Шайтан!

Шайтан замер. В этот миг он был похож на крепкий, высушенный солнцем комок земли. И вдруг, словно провалился сквозь землю, метнулся в сторону и исчез.

Пастушья овчарка кинулась было за ним следом, но

скоро вернулась взъерошенная, сверкая испуганными глазами.

— Ой-бой! Шайтан! — сказал пастух.

С тех пор я часто встречал шайтана на переезде. Я даже брал с собой что-нибудь от завтрака для него. У нас завязалась странная дружба. Впрочем, нет, то была вовсе не дружба, а какое-то настороженное общение. «Собака?» — думал я.

Но нет, это, видимо, была не собака.

Я рассказал об этом странном существе инженеру Умарову, когда мы с ним встретились на полустанке.

— А, это Мерген! С ним связана целая история, — сказал Умаров. — Его взял щенком и вырастил один молодой механик, который некоторое время работал у нас. Он был замечательный мастер, но его почему-то не любили. Уж очень он был горячий человек. Знал себе цену. И считал, что его недооценивают. Однажды собрался и уехал — переменял место работы, одним словом. Улетел самолетом. А про Мергена даже не вспомнил. Мерген примчался на аэродром, когда самолет был уже в воздухе. След оборвался... С тех пор Мерген изменился. Будто обжегся. Одичал. Никому не доверяет. Долго мы не могли найти хорошего механика. А Мерген превратился в настоящего шайтана... Многие его боятся. Да он и похож на волка, не правда ли? Шатается по степи, по дворам и нигде не находит себе места...

— Шатун, — сказал я.

— Шайтан, — поправил Умаров.

Мерген, по-видимому, хорошо знал, где я живу. Потому что всегда приходил к переезду вовремя, даже если я опаздывал.

Не знаю, почему он выбрал именно это место для встреч. Справа был поселок, а слева, прямо за железнодорожным полотном, начиналась степь.

Иногда мне казалось, что он следует за мной, оставаясь невидимым, от самого моего дома. Он словно изучал мою жизнь издали.

Я снимал комнату окнами в пыльный огороженный сад. Обедал на промыслах. Дома бывал редко. Газеты, оставленные на столе возле окна, за день желтели и выгорали на солнце.

Возле своего дома я никогда не замечал Мергена.

Моя командировка затягивалась. И жена решила приехать ко мне, посмотреть, как я живу. Я был очень рад и к ее приезду все вычистил и убрал в своей комнате.

Мое хозяйство было небогато. Стол, пишущая машинка, немного книг. Но с приходом жены все как-то изменилось, стало просторнее.

Правда, у меня накопилось множество неоконченных дел. И я два или три дня не был на переезде. Даже как-то забыл про Мергена.

Но вот однажды, когда я сидел за столом у окна, жена окликнула меня.

— Послушай! — сказала она. — Ты что, завел собаку? Мне она очень нравится...

— Какую собаку? — спросил я.

— Вот, посмотри! Как ее зовут? Она чем-то похожа на волка.

Я выглянул в окно и увидел Мергена. Опустив голову, он стоял среди двора и глядел на меня сухими желтыми глазами. Жена в утреннем платье стояла рядом с ним и касалась кончиками пальцев его загривка.

— Осторожно! — крикнул я. — Это вовсе не собака!

— А кто же это по-твоему?

— Это шайтан, — сказал я.

— Я вижу, что ты здесь сильно одичал в одиночестве, — отозвалась жена.

И погладила Мергена. Он вздрогнул, но с места не сдвинулся.

Однажды я вернулся из редакции среди дня и увидел странную картину.

На дворе горел очаг. На очаге готовилась еда. Возле порога сидела жена и расчесывала волосы. А у ее ног лежал Мерген и смотрел на огонь, положив голову на лапы.

— У вас тут прямо как в начале мира, — сказал я. — Огонь, очаг, собака. Она не укусит?

Мерген взглянул на меня мельком и отвернулся. Моя шутка показалась ему неуместной.

— Как это тебе удалось с ним так быстро подружиться? — спросил я.

— Очень просто, — ответила жена. — Он был голоден, и я его накормила...

— Он какой-то особенный сегодня.

— Видишь ли, он был к тому же очень грязный. Я заодно уж его и вымыла...

— То есть как вымыла?

— Очень просто... Теплой водой с мылом!

— И что же он?

— Как видишь, очень доволен!

— Я знаю его уже три месяца и никогда бы не мог подумать...

— Ну, я его сразу приручила!

И в самом деле, Мерген очень подружился с нами. Он сопровождал нас повсюду. Мы ходили с ним на базар, гуляли в степи, даже однажды в летнем кинотеатре

под открытым небом вместе были. Нет, конечно, мы пошли в кинотеатр одни, оставив Мергена дома. Фильм был скучный, со скачками, стрельбой, подстроенными встречами. И вдруг я почувствовал, что кто-то под скамьей навалился на мою ногу. Это был Мерген. Каким образом он проник в кинотеатр и разыскал нас, понять было невозможно.

Когда мы последними выходили из кинотеатра, контролер сказал:

— Платите штраф! С шайтаном в кино ходить не разрешается...

И мы уплатили штраф за нашего Мергена.

По дороге домой мы встретили Умарова.

— Подружились? — спросил он, указывая на Мергена.

— Да, очень, — ответила жена.

— Верю, — сказал Умаров.

Мерген, отвернувшись, прислушивался к этому разговору.

Однажды ночью мы проснулись от протяжного воя, который резко оборвался на самой высокой ноте. Я открыл окно и увидел, как Мерген легко перескочил через забор и скрылся. Высоко над деревьями стояла круглая маленькая луна.

И вновь откуда-то издалека, из дикого поля, послышался одинокий волчий голос. Я вдруг почувствовал, как велика степь.

Командировка моя подошла к концу.

У меня были дела в строительном управлении. До отхода поезда еще оставалось много времени.

Но когда я вернулся домой, то увидел, что жена сидит под чинарой во дворе и чертит на песке круги собранным длинным зонтиком в чехле.

У порога стояли наши уложенные чемоданы.
— Ты знаешь, — сказала она, — Мергена нигде нет...

Накануне мы были в гостях у инженера Умарова. На террасе в его доме жил в клетке большой попугай.

Попугаю было скучно. Он сидел в кольце высокой клетки с проволочным куполом и прислушивался.

В коридоре послышался стук когтей по паркету.

— Мерген! — крикнул попугай. — Мерген!

В дверях появился Мерген.

Он внимательно оглядел комнату, стараясь не смотреть на попугая.

— Мерген!

Тело его вытянулось, как от удара.

— Шайтан! — скрипнул попугай и шумно захлопал крыльями.

Мерген думал: его мог окликнуть человек. Но птица? Нет! Он повернулся и вышел из комнаты.

— Убирайся! — крикнул попугай.

Умаров накрыл клетку попугая темным платком. Он был смущен и раздосадован выходками этой птицы. А Мерген обиделся и пропал.

Машина стояла у ворот. Мы должны были ехать на железнодорожную станцию, и мы не знали, как быть.

Я не мог себе представить, как тронется поезд и где-нибудь на переезде мы увидим нашего Мергена, похожего на крепкий высушенный солнцем комок земли. И как он будет смотреть нам вслед...

— Можно ли придавать значение глупым словам попугая, — сказал Умаров. — Я просто удивляюсь...

Шофер заглянул в открытую дверь и сказал:

— Поехали! Мерген уже в машине. Сидит на вещах... Беспокоится, что опять без него уедут...

Умаров пришел проводить нас на вокзал и, взглянув на Мергена, который встал на задние лапы и выставил голову в открытое окно вагона, сказал:

— Я уверен, что вы еще вернетесь к нам...

ЗОЛОТОЙ КЛЫК

Говорили, что он не боится пули и первым нападает на охотника.

Когда под его ногами трещали камыши, собаки жались к ногам людей.

Но его никто не видел, хотя все знали, что он пришел с гор, где растут ореховые и дубовые рощи. Говорили также, что Золотой Клык стар. Тело его было покрыто шрамами. Мускулы проступали под плотной кожей крупными буграми. Калкан на груди затвердел, и об него ломались сухие сучья, когда он продирался через заросли.

Он давно отбился от стада и бродил один в тугаях Алтын-Сая. И хотя никто его не видел, всем доподлинно было известно, что левый клык у него сбит, а на правом — две поперечные зазубрины.

Какой-то охотник решил однажды выследить его в зарослях. Он поставил капкан у водопоя и вырыл себе окопчик на звериной тропе возле дубовой рощи. Положил перед собой ружье и спрятался под шатром зеленых веток, накиданных сверху на окопчик.

Целый день он просидел в засаде напрасно. Вечером по тропе прошелестел дикобраз и свернул в зарос-

ли. Потом мелькнула целая стая шакалов. Слышно было, как они о чем-то заспорили и передрались в чаще. Голоса у них были злобные и тонкие.

Охотнику казалось, что он всю ночь не смыкал глаз. Между тем утром он обнаружил, что ружье его затоптано в грязь, а капкан выворочен из укрытия и опрокинут вниз заслонкой. Мимо него, не прячась, проковыляла ондатра, спустилась к реке...

И вернулся охотник ни с чем.

Другой охотник сбился с дороги и долго плутал по лесу. И вдруг услышал, что кто-то идет впереди и тяжело продирается через чащу. Иногда останавливается, кашляет, выбирает дорогу... Охотник даже окликал того, кто был впереди, но тот не отзывался.

Шли они по таким местам, где, кажется, прежде никто не бывал. Наконец выбрались из леса. И тут на мгновение перед охотником мелькнула тень косматого проводника. И он решил, что это был сам Золотой Клык. Кому же еще знать такие потаенные тропы, которые даже охотнику неизвестны?

Охотники, если вправду сказать, немного побаивались его. Как-то вдруг перестали уходить в лес в одиночку. Да и вообще с тех пор, как Золотой Клык появился в Алтын-Сае, охотники присмирели. У каждого нашлись дела поважнее прогулок с ружьем по горам. А польза от этого получилась большая.

За короткое время все в лесу так расплодилось, что на живые горы приятно было посмотреть. Перебегали дорогу горные куропатки — кеклики; косули дергали листочки с домашних палисадников; фазаны перекликались с автомобильными гудками. И Золотой Клык стерег звериную тропу.

...Однажды в Алтын-Сае объявился браконьер. Переночевал в чайхане, а утром, не говоря никому ни слова, отправился в горы. Там он выбрал небольшой пригорок, уселся на нем, чтобы пересчитать свои патроны, как вдруг пригорок ожил, взревел и сбросил его в болото.

И все видели, как браконьер бежал по дороге, закинув ружье за плечи. И оно колотило его по спине, как палка.

Так он прибежал назад, в чайхану, где его ожидал инспектор, который потребовал у него документы и отобрал ружье.

— Вот это новость! — сказал браконьер.

Все говорили, что это Золотой Клык прогнал его из леса. И правильно сделал!

Саида, дочь мираба, смотрителя воды, училась в Самарканде. Она приезжала на лето домой, к отцу, и много раз слышала эти рассказы.

— Золотой Клык — это не научно! — сказала она.

Тогда ее отец, старый мираб Турсун-ата, поставил пиалу на коврик и ответил так:

— Дочь моя, украшение моего дома! Однажды Золотой Клык ранил моего коня. И я отдал две зарплаты за его лечение. А ты говоришь: не научно...

Золотой Клык был осторожен.

Он обнюхивал землю и недоверчиво фыркал, потому что плохо видел и доверял больше слуху, чем зрению.

Саиду удивляли подробности алтын-сайской легенды. Вообще легенды подробны. Их убедительность состоит именно в том, что в них много деталей.

И хотя в легендах совершаются чудеса, подробности поражают нас своей очевидностью.

В рыжем плаще болонья Саида ездил на отцовском коне по осенним лесам. И часто встречала Адыла, совхозного почтальона, который всегда первым почтительно кланялся ей и долго смотрел ей вслед...

Наконец в районной газете была напечатана статья под названием «Легенда или действительность?».

В этой статье говорилось, что самая мысль о возможности существования какого-либо зверя с золотыми клыками или рогами является сказочной.

— Дочка! — сказал мираб Турсун-ата. — Я прочитал статью под названием «Легенда или действительность?». Это очень умная статья. И, хотя из похвальной скромности ты не подписала своего имени, я сразу узнал золотое перо, которое я подарил тебе к первой сессии. Но, дочка, хотя и правда, что не может существовать животное с золотыми рогами или золотыми клыками, послушай, что говорят люди...

И Саида стала слушать и записывать. И то, что она слышала, напоминало ей детство и те далекие годы, когда еще была жива ее мать. Бывало, по вечерам, начиная свой рассказ, она говорила: «Было это или не было, но однажды случилось так...»

Золотой Клык был всюду. О нем говорили, его вспоминали среди повседневных дел.

Учитель в школе, глядя на измятую тетрадку ученика, говорил:

— Что это? Ее как будто Золотой Клык топтал. Интересно, как ты думаешь, почему она ему так не понравилась? Может быть, потому, что в ней слишком много ошибок?

Шофер, заклеивая распоротую шину, мрачно заявлял:

— Золотой Клык постарался... Только с дороги свернул — и пожалуйста!

Люди слушали и посмеивались. Потому что этого самого шофера видели вчера на дороге в соседнем селе, куда он часто наведывался в свободное время для того, чтобы поиграть в кости.

И сторож на бахче каждое утро сокрушался:

— Полюбуйтесь! Это его работа... Видите корки?

И все смеялись, потому что знали, как этот самый сторож любит большие сахарные арбузы.

Бабушка пугала внука:

— Не бегай далеко, там Золотой Клык!

У Саиды собралось множество записей в тетрадке под названием «Золотой Клык».

Адыл шел по узкой высокой дамбе. Справа, под насыпью, сверкал на солнце канал, слева расстилались затопленные водой рисовые поля. Он прошел уже половину пути от лесного хозяйства к предгорью, когда увидел издали, что ему навстречу быстро движется какое-то странное животное с большой головой.

«Кабан!» — подумал Адыл.

Поворачивать назад было поздно: кабан летел как торпеда. Глаза у кабана маленькие, подслеповатые. Широкие уши ловят каждый шорох. Желтые клыки торчат вверх.

В руках у Адыла была тоненькая кизиловая палочка. Зверь давно почуял, что кто-то идет ему навстречу. Уже был виден его бурый загривок. Да, это был Золотой Клык!

Адыл остановился. Зверь приблизился к нему на такое расстояние, что стало слышно его сопение. В шерсти кабана застряли сухие листья, с клыков обрыва-

лась на бегу желтая пена. И тогда Адыл сделал шаг в сторону и ступил на склон дамбы. Кабан пронесся мимо, как паровоз по рельсам.

Все это произошло в одну секунду. Но Адыл успел хлопнуть кабана по хвостику своей кизиловой палочкой. Потом он поднялся на дамбу и пошел по дороге в предгорья.

Однажды к Саиде приехали на воскресенье ее друзья из Самарканда. И между ними был один молодой охотник с прекрасным ружьем.

Молодые люди думают о будущем, потому что они молодые. А старые люди думают о будущем, потому что они старые. Турсун-ата смотрел на Саиду и улыбался. Она была похожа на свою мать.

Охотник с прекрасным ружьем, наслушавшись рассказов о звере с золотыми клыками, сказал:

— Надо положить конец этой легенде!

Он взял свое блестящее ружье и ушел в горы. И пробыл на охоте два дня.

И все это время Саида ни с кем не говорила.

Наконец он вернулся усталый и веселый. Одежда его была местами порвана, загрязнена. И только ружье по-прежнему сверкало на солнце.

— Золотой Клык! — сказал охотник. — Я выследил его на ореховой поляне. Клыки у него оказались самые обыкновенные.

На ореховой поляне вблизи Алтын-Сая лежал на боку кабан-одинец, полузасыпанный листьями. Левый клык у него был сбит, а на правом в старой золотой кости сверкали две поперечные зазубрины.

Тогда Саида, дочь мираба, сказала:

— Дурак! Я не пойду за тебя замуж. Зачем ты положил конец легенде?

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

Свидетельства очевидцев об амударьинских тиграх вообще легендарны. О страшных хищниках чаще всего рассказывают смешные истории. Так оно выходит правдивее. Смех становится чем-то вроде вольера в зоопарке. Зверь лучше виден и не так страшен.

Натуралист Юдин рассказывал о том, как тигр повадился приходить в чайхану у дороги в жаркое время дня. Ложился на ковер под навесом и дремал. В эти часы все вокруг замирало. Тигр отдыхал в чайхане подобно усталому путнику.

Его привлекала здесь надежная тень и прохлада. Он был похож на сурового старика в халате.

С наступлением сумерек он удалялся в свои тугаи и плавни. И добрые жители кишлака еще долго обсуждали подробности этого странного посещения.

Так продолжалось целое лето.

Однажды чайханщик не успел снять с огня чайник. И чайник стал шипеть и постукивать крышкой. Тигр зарычал на него, как будто хотел сказать: «Эй, уймись!» Но чайник продолжал фыркать и кипятиться. И тигр обиделся на этого невежу. И ушел. И больше не приходил.

Чайханщик, который, несмотря на свою тучность, бежал впереди всех, как только появлялся тигр, теперь досадовал на то, что он больше не показывался потому что его чайхана, пока в нее наведывался тигр, пользовалась громкой славой. Издалека приезжали люди, чтобы посидеть на ковре, на котором отдыхал амударьинский тигр. С тех пор эта чайхана получила название Тигровой.

А чайник, прогнавший тигра, стоял на самом видном месте. В нем заваривали чай для почетных гостей.

Один местный фотолюбитель успел щелкнуть тигра, когда тот выходил из чайханы. Снимок получился неясный, но исторический!

Не везде и не всегда в чайхану приходят такие замечательные посетители. Тигровая чайхана — редкость, и тигр в наши дни — большая редкость, не каждому удастся его «щелкнуть».

Художник Волков вспоминал, как однажды он писал этюд на берегу Амударьи. Был отличный день, и работа шла хорошо. Художник так увлекся, что не видел ничего вокруг, кроме цвета облаков и воды. Между тем ему казалось, что кто-то посматривает через его плечо на полотно.

Так повелось, что, если художник пишет с натуры, всегда кто-нибудь заглядывает через его плечо на полотно. Одному кажется, что цвет не такой, другой сердится, что пропущена та или иная подробность, третий вообще считает, что этот художник рисовать не умеет. Хорошо еще, если все эти соображения останутся невысказанными.

Иные замечания, сказанные под руку, могут испортить весь сеанс. А ведь ту же самую картину, увидев ее на выставке, иной из недавних критиков будет рассматривать с удивлением и даже восхищением. И своим знакомым скажет: «Я видел это собственными глазами, вы не поверите...»

Все хорошо на своем месте и в свое время. «Половину дела никому не показывай», — повторял художник Волков.

Ему было неприятно, что кто-то наблюдает за его работой. Наконец он оглянулся. И увидел молодого тигра, который сидел, как кот, на хвосте. Когда художник взглянул на него, тигр зажмурился.

Тогда художник, не оборачиваясь и не спуская глаз

с тигра, снял с этюдника за спиной полотно и выставил его перед собой как щит. Шаг за шагом отступал он к рыбацкому домику, где в утренние часы обыкновенно никого не было. Тигр потянулся за ним следом, распрямляя лапы, играя своим хвостом.

Художнику была видна изнанка холста, а тигру — масляная поверхность картины. «Искусство — это щит», — думал Волков, прячась за свою картину.

Так он и вернулся в рыбацкий домик — живой, невредимый и со щитом в руке! Картина Волкова, на которой нет тигра, но зато есть Амударья, и до сих пор хранится в музее.

Археолог Вяткин по вечерам купался в Амударье. Он заплывал далеко, ложился на спину так, что его борода расправлялась на волне, и читал стихи собственного сочинения:

Никому не скажу, никому,
Почему полюбил я Аму...

Раскапывая древнюю обсерваторию Улугбека вблизи Самарканда, он нашел на затвердевшем глиняном растворе отпечаток тигриной лапы.

У инженера Смирнова был полосатый картуз с широким козырьком. Этот картуз надел его приятель Сабуров. День был жаркий. Амударья струилась на солнце как марево.

На строительстве все затихло до вечера. Только в фанерном домике прораба действовала радиоточка. К берегу надо было продираться через желто-черные заросли камыша.

У воды дышалось легче. На отмели хозяйничали чайки. Хождение в заросли тем было особенно привле-

кательно, что в зарослях жил тигр. Его называли Хозяином. Это был заповедный зверь, большой, красивый, спокойный и снисходительный.

Его опекали ловцы и зоотехники из заповедника. Они оставляли для него корм в условленном месте и фотографировали его в научных целях. Хозяин иногда делал любезную гримасу в объектив, но чаще смотрел хмуро и отчужденно.

Сабуров приехал на строительство в командировку, а Смирнов работал здесь с давних пор. Они знали друг друга еще со студенческих лет. Оба учились в Московском высшем техническом училище. И теперь случайно встретились на стройке.

Но Сабуров не сразу поверил в тигра. Долгое время он считал, что это просто выдумка Смирнова, что-то вроде очередной легенды, которой морочат новичков. Приедет в Москву и будет рассказывать добрым знакомым, что кормил из своих рук тигра на Амударье и очень привязался к нему. Любит разыгрывать доверчивых слушателей. Как-то, еще в студенческие годы, Смирнов уверял, например, что встретил в Сокольниках страуса. И этот страус будто бы проглотил его авто-ручку.

Впрочем, на строительстве в «Режиме дня» была особая строка: «Тигра не дразнить...» Сабуров навел справки. И оказалось, что эту строку вписал Смирнов. «Глупо, — подумал Сабуров. — Если допустить, что тигр действительно существует, то кто же будет дразнить его?» Но он все время ловил себя на мысли о тигре.

— Скажи, Рашид, — спрашивал он шофера сменной машины, — ты когда-нибудь видел тигра?

— Нет, не видел, — отвечал Рашид.

— И я тоже не видел!

— Хорошо! — говорил Рашид. — Вам повезло.

— Но, может быть, его и нет вовсе? — допытывался Сабуров.

— Почему нет? — удивился Рашид.

— Потому что ни я, ни ты его не видели...

— Я его не видел, ты его не видел, — сказал Рашид, — зато он тебя видел... Он всех видит, — добавил он, чтобы успокоить Сабурова.

И все же Сабуров стоял на своем. «Экзотика! — думал Сабуров. — Экзотика — это то, чего нет в действительности. Например, тигр! Это — экзотика. В действительности есть только полосатый картуз Смирнова...»

И вот однажды он надел этот картуз на свою голову и отправился на берег Амударьи.

И увидел тигра!

Хозяин вышел сам к нему навстречу и приветствовал его издали дружелюбным рычанием. Сабуров почему-то вспомнил про свое командировочное удостоверение, которое осталось в конторе, и подумал еще, что все это подстроил Смирнов.

Неожиданно для себя Сабуров заговорил на каком-то непонятном языке, состоящем из одних только гласных.

В следующую секунду он уже был в воде. Полосатый картуз свалился с его головы и свободно плавал у берега.

До ближайшего островка было метров двадцать. Сабуров поплыл, глубоко нарая и стараясь как можно дольше оставаться под водой. «Кошки боятся воды!» — вспомнил он, и у него отлегло от сердца.

Оглянувшись, он увидел, что тигр выловил его картуз и стряхнул его с лапы на берег.

Кое-как Сабуров добрался до отмели, где хозяйничали чайки. Рыбачья лодка с одним веслом уткнулась носом в песок. С лодкой тигр ему был теперь совсем не страшен.

«Будет что рассказать! — подумал Сабуров. — Не поверят...»

Далеко на берегу стоял желто-черный тигр и задум-

чиво смотрел на него. До чего похож на кошку! Да, этакий огромный котиче...

— Что, не ожидал? — сказал Сабуров, отряхиваясь. Вода с него текла потоками. — Я плаваю как рыба! Да... Как рыба! Меня не испугаешь! Не простой я, слышишь? Не простой! Ты меня лапой, а я в воду. И все. Не достанешь! Ха-ха! Не достанешь...

Сабуров пришел в восторг. Не достанешь! А? Попробуй! Он даже сделал несколько прыжков на отдели в разные стороны. Другой кто-нибудь растерялся бы, а он — нет! Другой кто-нибудь бог знает сколько времени здесь живет, а все только шутки шутит. А он в командировку приехал и не растерялся.

Картуз, правда, пропал. И черт с ним! Скажу Смирнову: «Твой тигр взял. На память... Я ему подарил. Не мог отказать! Сувенир!»

Солнце стояло высоко. Вода лениво плескалась у берега. И тигр поигрывал хвостом на почтительном расстоянии.

«Хоть до вечера буду здесь сидеть, — решил Сабуров, раскладывая на песке свою мокрую одежду. — А вообще эту зверюгу пора сдать в цирк...»

В это время на берегу из зарослей показались ловцы и зоотехники. Тигр потерял всякий интерес к Сабурову и ушел обедать. Один из зоотехников долго кричал Сабурову что-то насчет того, что тигра дразнить не разрешается.

Когда Сабуров вернулся в контору, Рашид сказал ему:

— Что это шапка у тебя такая некрасивая стала? Сабуров повертел в руках картуз, который подобрал на берегу, и сказал:

— Хозяин примерял...

Рашид засмеялся. Как все амударьинцы, он понимал и любил шутку.

Смирнов выслушал рассказ Сабурова хмуро и сказал:

— Тигры, в отличие от кошек, отлично плавают... Разве ты этого не знал? И тот островок, на котором ты будто бы спасался от тигра, тоже входит в запретную зону. А вообще ты все это хорошо придумал. Любишь разыгрывать знакомых, а? Только кепку мою ты зря впутал в эту экзотику... Кепка тебя выдает с головой.

ГОСТЬ

Митя проснулся, открыл глаза. И сразу стало слышно, как бабушка накрывает на кухне стол для завтрака. Сквозь стекла закрытых на зиму окон прямо в лицо ударили солнечные лучи. Митя зажмурился, но сон уже оборвался.

Он лежал и думал о том, что ему приснилось. Приснился ему охотник. Только вместо ружья у него была в руках большая инженерная линейка. И куда бы он ни повернул линейку, всюду возникала перед ним шоссейная дорога. И волк не мог перейти через нее. Он останавливался у обочины и скалил зубы. А по другую сторону дороги был кто-то другой, с карими глазами, кого Митя не успел разглядеть. Охотник был Митин отец...

Митя вскочил с постели. Сегодня понедельник. Вчера папа был на охоте. Теперь он уже ушел на работу, а дома осталось ружье, пахнущее порохом, куртка, патронташ и сапоги, такие высокие, какие бывают у великанов.

Бабушка заглянула в комнату и сказала:

— Митенька, тут к тебе новый знакомый пришел!

Митя решил, что бабушка его морочит, как малень-

кого, и даже не стал спрашивать, что за новый знакомый такой. Только ответил сердито:

— Никогда не разбудят сразу!

Митя распахнул дверь и застыл на пороге. В столовой никого не было. Возле дивана лежала вислоухая охотничья собака Ласка. Она растянулась на коврикe всю длину, положив голову на передние подобранные лапы. Сама она была коричневая, а правая передняя лапа у нее была белая. Она и ухом не повела, даже не взглянула на Митю.

Ласка вообще его не признавала. Только иногда подавала ему свою белую лапу.

В столовую вошла бабушка с чайным полотенцем на плече. Она вытирала большую синюю кружку, в которую по утрам наливала из кувшина молоко на завтрак.

— Иди умывайся, — сказала она, — и садись завтракать.

Митя в два прыжка оказался возле Ласки и сел на нее верхом. Ласка заворчала, ударила хвостом об пол. Митя дал ей встать и опять уселся поудобнее на ее спину. И она провезла его по комнате, а потом сбросила на пол.

— Где новый? — кричал Митя, падая под стол.

Ласка открыла дверь лапой и спокойно ушла на кухню.

— Ничего с ним не случится, обождет, — ответила бабушка. — Да где ты там?

Митя думал, сидя под столом на перекладине: «Кто обождет? Почему обождет? Может быть, папа привез с охоты волка?» Митя вспомнил свой сон.

— Он в клетке? — спросил Митя.

Бабушка засмеялась:

— Где ж у нас клетка?

— И он не кусается? — спросил Митя.

- Нет, не кусается, — ответила бабушка.
— И его можно погладить?
— Можно погладить.
— Его папа с охоты привез?
— Иди умывайся и садись завтракать, а то так до вечера и не увидишь его.

Бабушка раскрыла двери сарая и сказала Мите:

— Входи, не бойся!

В темном сарае без окон послышался шорох и легкий стук. Митя заглянул в открытые двери. Там стоял он на тоненьких ножках, повернув голову на высокой шее и глядя на незнакомых людей внимательными черными глазами.

Это был джейран с острыми прутиками-рожками, похожий на дикое вишневое деревце, выросшее в зарослях Яз-Яванской степи.

— Ура! — закричал Митя.

Он сорвал с головы шапку и бросил ее к потолку. Джейран метнулся, как от коршуна, и прижался к неровной стенке саксаула, сложенного в сарае. Из-под копыт его взметнулась тонкая угольная пыль.

— Что ты! — сказала бабушка. — Перепугал его... Надень шапку. Это наш гость.

Джейран склонил рожки и покоился на Митю.

— А как его зовут? — спросил Митя.

— Никак не зовут, — ответила бабушка. — Если хочешь, придумай для него имя.

Бабушка погладила джейрана по его жесткой шерсти. Он опустил нижнюю губу, собрал ее комочком и потянулся к бабушкиным рукам.

На дворе был легкий морозец. Бабушка разрешила выпустить джейрана из сарая. Поглядеть на него собрались все соседские дети. Они взобрались на глиня-

ный дувал и на высокий красный пожарный ящик у ворот.

Хасан Ганиев, мальчик из соседнего двора, сидел на ящике, сложив ноги по-турецки, и ему было все видно сверху. Катя в клетчатом платочке спрашивала, из чего у джейрана сделаны рога. Один малыш перепугался и уронил яблоко. Оно упало во двор и покатилося к джейрану. Джейран потянулся к яблоку и съел его, прихватив губами немного снегу. Все засмеялись. И малыш тоже засмеялся, а сначала хотел заплакать.

Джейран внимательно прислушивался к голосам, к скрипению дверей, к гудкам машин на улице за глиняным дувалом. Все здесь было для него незнакомым.

Снег таял под солнышком; серебристый и легкий, он едва держался на ветках деревьев и на траве, высохшей еще в середине лета. Джейран и Митя ходили по двору друг за дружкой. То Митя шел за джейраном, то джейран за Митей. Шерсть на спине и на боках джейрана была бурая, а шея и внутренние стороны ног — белые. В пустыне, когда на солнце блестят белые зеркальца высохших соленых озер, только опытный глаз охотника может заметить джейрана.

Джейран вытянул мордочку так, что рога его, загнутые над острыми и длинными ушами, отклонились назад. Он втягивал воздух ноздрями и как будто кивал Мите, как своему приятелю, снизу вверх. Митя тоже кивал ему головой сверху вниз.

— Он ручной? — спросила Катя.

— Он дикий, — ответил Митя.

Джейран и Митя смотрели друг на дружку.

— А как его зовут? — спросила Катя.

— Дружка! — ответил Митя и обрадовался, что так легко нашел это имя.

— Дружка! Дружка! — кричали ребята.

И малыш, который уронил яблоко, тоже кричал:

— Дружка, хочешь яблочка?

А джейран настороженно кружил по двору. Он всюду был хорошо виден и чувствовал это. Здесь не то что в пустыне — негде было спрятаться. Возле высокого пожарного ящика он остановился и поглядел наверх.

Когда Митя выходил во двор играть с Дружкой, Ласка оставалась дома. Иногда Митя мельком видел, как она прыгала на подоконник и следила за ним через стекло строгими глазами.

Ласка была недовольна. И с некоторых пор перестала подавать Мите лапу.

Однажды Митя затеял новую игру с джейраном. Он встал за глиняный очаг, на котором соседка тетя Ониса готовила еду в хорошую погоду, и позвал джейрана.

А когда Дружка кинулся к нему, Митя спрятался за очагом. Джейран вскинул передние ноги и легко перескочил через очаг. И сразу же повернулся к Мите, склонив рожки. Но Митя уже успел перебежать на другую сторону очага. И джейран опять перелетел через его голову. Очаг был старый, обожженный огнем и солнцем, от него пахло дымом и глиной. В щелях и трещинах виднелись голубые прожилки льда.

И вдруг где-то за спиной хлопнула дверь. Дружка метнулся в сторону. И Митя понял, что это Ласка.

Митя закричал и побежал следом за Дружкой. Но Ласка опередила его и схватила джейрана за тоненькую ножку. Дружка упал на грудь и, заломив голову, смотрел на желтые длинные клыки собаки. Что-то волчье мелькнуло в оскале Ласки.

— А-а-а!.. — кричал Митя, и голос его дрожал.

Ласка не обращала внимания на Митю. Но тут он вдруг так крикнул на нее и так взмахнул рукой, что от неожиданности она села на хвост. Это был голос хозяина, которому Ласка всегда верила. И этим голосом теперь заговорил Митя.

— На место! — услышала Ласка.

Она бросила джейрана и взглянула на Митю. Одно ухо у нее поднялось выше другого. Она смотрела на Митю и не узнавала его — такой он был грозный в эту минуту.

— На место! — снова прозвучал голос хозяина.

И Ласка ушла на согнутых ногах, оглядываясь. Митя наклонился над Дружкой и гладил его густую темную шерсть. Джейран вытянул мордочку к переломленной ноге и узким язычком слизывал кровь.

Дружку принесли домой. Положили на чистую солому на террасе. Бабушке помогала тетя Ониса. Вместе они промыли рану Дружке и крепко перебинтовали его ножку, приложив к ней две ровные палочки, чтобы ему не было больно.

— Какой красивый! — сказала тетя Ониса.

Тут пришел Терентий — сосед-пожарник. Сел на табуретку в кухне и сказал, что двор не заповедник, что, может быть, джейран и не выживет и что вообще Алексею не надо было привозить Дружку. И закурил такую черную трубку, что бабушка закашлялась.

Митя тоже посмотрел на Терентия. Но Терентий как-то весь расплылся и стал одним темным пятном. Митя заморгал часто, и ему стало жаль Дружку, папу и еще кого-то...

— Не плачь! — сказала бабушка.

Митя бросился вон из комнаты.

На улице шел дождь со снегом. Из-под ног брызгами взлетал мокрый снег. Глиняные дувалы, голые деревья, машины и прохожие — все мелькало перед глазами Мити. Он ничего не замечал. И забыл надеть шапку, так что его прохватывал холодный ветер.

«Дружка! Дружка!» Проехала машина, другая, сиг-

наля на поворотах. Никто не догадается взять с собой Митю. Все спешат по своим делам, но ни у кого нет такого спешного дела. «Дружка! Дружка!»

Митя вбежал в угловой дом, где помещалась папина мастерская. Он поднялся на второй этаж и побежал прямо в чертежный зал. Там стояли высокие столы, и всюду лежали на столах и висели на стенах большие чертежи.

— Дружка пропадает! — закричал Митя, бросаясь к отцу.

Все повскакивали со своих мест. Какой-то инженер с длинной линейкой выглянул на лестницу.

Папа сразу все понял. Он только переспросил:

— Дружка? Ласка? Терентий? — И сказал: — Скорее! Домой!

Возвращались в машине. По самой середине шоссе, мимо глиняных заборов скорее, скорее домой!

Дома папа переменял повязку на сломанной ножке джейрана. Терентий затушил свою черную трубку, спрятал ее в карман и стал помогать папе. Оба они сидели на корточках возле Дружки, и Митя не отрывал взгляда от их рук.

Джейран смотрел на Митю карими глазами и иногда мотал рожками, когда ему было больно.

— Потерпи немножко, — уговаривала его бабушка.

Наконец перевязка была окончена.

Пришла с работы мама.

— Что это? — сказала она, бросив портфель на стул.

И сразу принялась за дело. Переменяла солому, принесла воды. А когда Терентий заикнулся о том, что надо было привозить сюда джейрана, она только отмахнулась от него:

— Что уж теперь говорить об этом!

Папа увел Терентия на кухню обедать. Они сидели за столом и говорили о своих делах, о пожарах и охоте...

...Охотники возвращались домой. Оставался один последний переход. Решили сделать привал у колодца, чтобы отдохнуть, вычистить машину и запастись водой.

И вдруг Ласка забеспокоилась. Помчалась куда-то, вернулась и снова пропала в зарослях среди скал. Следом за нею кинулся и огромный волкодав Арслан.

Шофер Муратов умывался у колодца и не обратил внимания на беспокойство собак. Охота была неудачная. Ходили слухи, что в степи появились волки. Но выследить стаю не удалось.

Все очень устали и торопились домой.

Вдруг Арслан пришел в страшное волнение. Скакал вокруг Ласки, кидался обниматься с охотниками. Арслан отличался большой силой и добродушием. При своем огромном росте он иногда напоминал щенка.

Ласка была хоть меньше Арслана, но зато умнее. Она зарычала на него, и он немного присмирел.

— Что там случилось? — наконец сказал Муратов. — Ласка! Арслан! — позвал он собак. — Поехали, время дорого.

Арслан не откликался. И Ласка примолкла. Потом где-то поблизости раздался ее отрывистый лай.

— Что-то она там нашла, — сказал Митин отец.

Он вскинул ружье и пошел на голос Ласки.

Там, под обрывом, в глубокой расщелине, он и увидел джейрана. Может быть, этот джейран оступился, прыгая с камня на камень, или его горным обвалом сбросило в каменный колодец, только выбраться оттуда он не мог.

Ласка смотрела сверху вниз на джейрана. А джейран смотрел снизу вверх на Митиного отца и поднимался на задние ноги, передними упираясь в отвесные камни. Надо было что-то делать.

Отец на веревках спустился вниз. На дне расщелины постелил брезент, закутал в него джейрана. Потом с помощью ремней и веревок джейрана подняли наверх.

Был он голодный, испуганный и не отходил от своих неожиданных избавителей. Ласку и Арслана пришлось отвести подальше от машины. Ласка быстро успокоилась: она свой долг исполнила, остальное ее не касалось.

— Что же делать? — сказал отец. — Возьмем его домой — там он будет в безопасности...

Когда машина с охотниками отъехала, к колодцу слетелись птицы.

Они кричали, раскачиваясь на ветках, и пили воду из узких следков, оставленных копытцами джейрана в мягкой, оттаявшей земле.

Митя никак не мог понять, почему Ласка чуть не погубила джейрана дома, хотя она же спасла его на воле.

Дружка поправлялся медленно. Больше всего он привязался к бабушке. Брал у нее из рук хлеб. Митя кормил Дружку свежей травой.

Малыш, который однажды уронил яблоко с дувала, приносил Дружке угощения, но подходить к нему все же не решался, прятал руки за спину и улыбался джейрану. Издали.

Как-то мама сказала Мите:

— Ты бы угостил Дружку солью.

— Зачем? — удивился Митя.

— Джейраны любят соль.

— Да, да, — подтвердил папа, — джейраны лизут соль на высохших озерах.

— Поэтому у них спина бурая, как пустыня, а живот белый, как соль на высохших озерах? — спросил Митя.

Папа засмеялся и ответил:

— Может быть, и поэтому...

Митя пошел на кухню и взял со стола солонку. Солонка была глиняная, облитая глазурью, снаружи гладкая, а внутри шершавая.

Дружка лизнул соль и взглянул на Митю. Потом еще раз лизнул соль и взглянул на Ласку.

Ласка подошла к своей чашке и принялась лакать воду с такой жадностью, как будто не пила целую вечность.

Солонка джейрану понравилась. Он и ее лизнул.

Митя вернулся на кухню, поставил на стол солонку, отрезал себе хлеба, посыпал его солью и стал есть.

— Ты бы еще травки пожевал, — сказала бабушка.

— Ну вот теперь, кажется, вполне подружился, — заметил папа. — Хлеб и соль вместе ели.

Хасан сидел на глиняном возвышении в глубине двора и пел песню, странно растягивая окончания слов.

— Что ты поешь? — спросил Митя.

— Так, — ответил Хасан. — Старая узбекская песня, отец говорит. А я не знаю, старая она или нет.

Митя помолчал, а потом спросил:

— А про что твоя песня?

— Я не умею рассказывать, — ответил Хасан. — Там говорится про журавля. О-ой-ой, прилетел журавль. Я возьму камышинку, сделаю дудочку и буду петь: прилетел журавль. Я пойду к реке на остров и буду петь о том, что прилетел журавль. Где он был зимой, я не знаю, а теперь он вернулся к нам. Пой, моя дудочка, пой: прилетел журавль. Нравится тебе?

— Это не песня, а просто так ты рассказал.

— Ну, я спою еще раз, хочешь?

— Спой.

Хасан снова запел. А Митя представлял себе, как прилетел журавль весной. Может быть, там, где он зи-

мовал, его очень полюбили и не хотели отпускать. А он все равно улетел, чтобы камышинка пела на острове.

Мите было грустно. А песня была веселая. Хасан растягивал окончания слов.

— Лето! — сказал папа за обедом. — Настоящее лето! И завтра воскресенье. Поедем, а? — И он поглядел на Митю. — Поедем далеко, до самого заповедника. Теперь джейраны в стада собираются. Самое время ехать.

Митя молчал и думал.

Ласка носилась по всему дому и лаяла на воробьев во дворе.

Мама складывала вещевой мешок. Бабушка пекла дорожные пирожки.

Только Дружка не участвовал в сборах. Он бродил, как обычно, по двору или лежал на солнышке, выставив вперед одну ножку и покачивая рогами.

Рана его давно зажила, ножка окрепла. Ласку он больше не боялся. И Ласка привыкла к нему, когда он перестал ее пугаться.

— Как мы будем жить без Дружки? — говорила мама. — Не представляю себе.

Мама Мити была учительница. Когда она приходила с работы и после обеда ложилась на тахту отдохнуть и почитать книжку, к ней являлся джейран, как она говорила, помолчать.

Он стоял возле нее и не шевелился, только ушами поводил, как будто молча ей что-то рассказывал. И она очень любила его за это. Даже Митя не мешал их безмолвным беседам.

Но пришла пора расставаться с Дружкой.

Вечером Митя вышел во двор и увидел Катю. Она играла во дворе в «классики» сама с собой. Начертила мелом клетки на асфальте и прыгала по ним на одной ножке.

— И зачем ты отпускаешь его? — удивлялась Ка-

тя. — Я бы ни за что его не отпустила. Вцепилась бы обеими руками и не отдала бы.

Митя не успел ей ответить. Из дверей выскочила Ласка. Джейран прыгнул ей навстречу, и они понеслись рядом в глубь двора.

Дружка вскочил на самый верх пожарного ящика. Он стоял и постукивал крепкими ножками и смотрел сверху вниз на Ласку.

Ласка прыгнула, но не достала до края. Прыгнула еще раз и села на хвост возле ящика, глядя вверх на Дружку.

Белая лапа ее дрожала на весу, едва касаясь земли.

В степи уже была настоящая весна. В зарослях звенели чирки. Низко пролетали утки над скрытой в ивняке водой.

Начинался апрель. Земля, покрытая первой порослью, просвечивала коричневым загаром. Погода установилась надолго.

Митя уходил все дальше от машины, где остались охотники с ружьями и собаками.

На охоте главной всегда была Ласка. Арслан ей во всем повиновался. Он любил смотреть по сторонам, а Ласка не позволяла ему отвлекаться.

Но теперь он смотрел прямо перед собой и не мог скрыть своего удивления. Джейран уходит в степь! Этот мальчишка непременно его упустит!

Арслан взглянул на Ласку. Она стояла рядом со своим хозяином и рассеянно смотрела по сторонам.

— Арслан, не вертись! — сказал Муратов.

И Арслан тоже стал смотреть по сторонам. А вокруг была степь. Над степью летели крикливые птицы...

Митя обеими руками обнял за шею Дружку. Джейран перебирал ногами ровно, втягивая через ноздри степные тревожные запахи. Горьковатым медком дыша-

да поверх всех трав мята, остро щекотала ноздри вкрадчивым запахом полынь.

Настойчивым движением Дружка высвободил шею от руки Мити и шагнул в степь.

Митя отступил назад. Где-то далеко за спиной лаяли собаки и слышались голоса охотников.

Вот он мелькнул за невысоким кустарником, гость из Яз-Явана, похожий на дикое вишневое деревце с острыми прутиками-рожками.

— Митя-а! Митя-а! — кричали издалека.

А Митя все стоял и смотрел вперед, в широкий и чистый простор весенней степи.

ВЗРЫВ

Природный газ выбил глинистый раствор из скважины. Резервуар оказался ниже перспективного горизонта. Разрушилась перемычка, которая оставалась между резервуаром и скважиной. Газ фонтанировал со страшной силой.

Стальная вышка стала вибрировать под напором струи газа. Вибрация передалась трубам, установленным на горизонтальной ферме. Столкнувшись, трубы выбили искру, и вспыхнул султан огня.

Башня горела, плавился металл, рушились обломки. Домик буровиков возле вышки превратился в пепел, остался только каменный очаг, в котором погас огонь... Все это произошло в несколько секунд. Салямов забыл, что он буровой мастер, забыл, что он Салямов, все забыл.

У основания сгоревшей вышки оставалась одна неповрежденная бетонная плита. Огонь как будто пятой опирался на нее, она служила ему трамплином для

прыжка в небо. Плита была квадратной, тяжелой, мощной.

Газ воспламенялся, вырываясь на волю. Огонь не мог проникнуть в глубь скважины, он был весь на виду. Огненный султан был похож на джинна, разломавшего свой кувшин, в котором он таился много веков.

Джинн вертикально парил в воздухе и поворачивался, сияя разными оттенками красного, фиолетового и черного плаща. Саямов чувствовал себя перед ним беспомощным, как мальчик из багдадской сказки.

Джинн как бы приветствовал Саямова, говоря: «Саям! Ты искал меня. Вот я, чего же ты испугался?»

Никакой ветер не мог покачнуть джинна, и ничего ужаснее Саямов никогда не видел в своей жизни. Ему казалось, что джинн хохочет над ним. «Ты искал меня? Здравствуй, Саям! Разве не ты искал меня?»

Саямов стоял неподвижно, смотрел на огонь и на погасший очаг и не видел ничего вокруг. Уже вызвали аварийную бригаду, уже на промыслах шло экстренное совещание, уже телеграммы были посланы в главк.

А Саямов стоял неподвижно перед своим джинном, который извивался в высоте и ревел на свободе. «Я искал тебя, — думал Саямов. — Да, я искал тебя. Но никогда не думал, что ты такой...»

Прибыли пожарные, приехали военные саперы, пришли цистерны с водой. Саямов ничего не слышал, кроме гула пламени. Джинн с хохотом выбрасывал на ветер, сжигал и швырял в небо сокровища древнего кувшина.

Некоторые думали, что Саямов сошел с ума. Его ученик, маленький черноглазый Кадырали, пробовал увести его от огня. Но Саямов отстранял его рукой и оставался на месте.

— Не мешай, — говорил Саямов. — Это ифрит, безумный хранитель подземного царства, а я человек, у меня есть разум.

Пожарные в асбестовых костюмах были похожи на

космонавтов. Они поливали друг друга водой из шлангов, пытаясь приблизиться к пламени. Нужно было хоть на мгновение сбить струю газа.

Если столб газового факела отделится от чугунной плиты, пламя погаснет в высоте. И тогда можно будет приблизиться к кратеру, перекрыть горловину скважины.

Но вода испарялась, едва достигнув огня. Салямов пристально смотрел на работу пожарных. Джинн не боится воды. Он это знал. И асбестовые костюмы не могли защитить пожарных. Они должны были отступать.

Взрывники пытались сбить пламя огнем. Но джинн не боялся огня. И толовые шашки взрывались раньше, чем заряды достигали цели. Салямов предвидел и это. Ни вода, ни огонь не помогут...

Джинн никого не подпускал к себе. Он принимал разные формы: то был похож на лилию, почти белую, то становился красным тюльпаном с черной сердцевинкой, то превращался в дракона.

И оглушал всех своим ревушим голосом. Нет, он не боялся ни воды, ни огня. Кадырали принес Салямову воды, но он отстранил от себя воду. Он не чувствовал жажды, не чувствовал голода, ничего не чувствовал.

Шли уже вторые сутки с тех пор, как Салямов услышал голос Кадырали: «Пожар!». Это слово еще звучало в ушах Салямова, перекрывая рев джинна. Огонь жег его лицо, но он не сходил с места.

Из танкового училища, расположенного неподалеку, пришли боевые машины. Рядом с огненным фонтаном они были похожи на спичечные коробки. Боевые залпы утонули в гуле огня. Их никто не слышал.

Снаряды словно растаяли у подножья великана. Танкисты, прикрытые броней, стремились подойти к джинну вплотную. Но, разворачивая танки, водители откидывали крышки люков. Дышать было нечем.

Уже хотели вызвать самолеты, чтобы попытаться сбить пламя с воздуха...

Салямов сказал, обращаясь к Кадырали:

— «Вдруг из кувшина пошел густой дым. Он поднялся все выше и выше и дошел до самых облаков».

Кадырали спросил:

— Что же это было?

— Это был взрыв, Кадырали. Разве ты не понимаешь? Природа джинна не огненная, посмотри на погасший очаг, не водная, взгляни на эти опустевшие цистерны, а взрывная... Ты помнишь, что было с Аладдином, когда он увидел джинна?

— Он испугался?

— Нет, он удивился. Он удивился тому, как мог такой огромный джинн поместиться в таком маленьком кувшине. Он просто не поверил этому. И тогда джинн сказал: «А если я снова скроюсь в кувшин, ты поверишь?» Надо, чтобы он снова вернулся в свой кувшин, и ничего больше! И тогда мы закроем его наглухо. И он скажет: «Обещаю тебе, что больше никому не причину зла...»

— Учитель, — сказал Кадырали. — Я тоже люблю сказки, но сейчас...

И он опять посмотрел на Салямова. Может быть, он действительно сошел с ума?

— Здравствуй, — сказал Салямов, обращаясь к джинну. — Салям! Я выпустил тебя из кувшина, а ты погасил мой очаг! Покажи лучше, как ты умещаешься в своем кувшине. Ты такой большой...

Салямов засмеялся. И продолжал:

— Но ты можешь стать еще больше, если примешь от меня маленький подарок...

Потом Салямов повернулся и пошел по направлению к палатке, где расположился штаб спасательных работ.

По плану Салямова была построена несложная конструкция в виде наклонной горки на колесах. По наклон-

ной плоскости укрепили рельсы. На рельсы поставили вагонетку с толлом. Вся эта конструкция была похожа на какой-то древний таран, такой же древний, как сказка про джинна.

Салямов и Кадырали в асбестовых костюмах сидели на тягаче, который подталкивал вплотную к газовому фонтану треугольный таран. Потом они отогнали тягач, отпустили крепление вагонетки и легли за песчаную насыпь.

Вагонетка летела в объятия джинна.

И раздался взрыв.

Джинн принял подарок Салямова и нырнул вместе с этим новым зарядом пламени в свой кувшин, чтобы припрятать его на самом дне...

И наступила тишина.

Бетонная плита перекрыла скважину... Взрыв сдвинул ее с места. Над ней клубилась земля и оседала пыль.

Салямов поднял голову и поглядел на Кадырали. Кадырали не верил своим глазам. Джинн вернулся в свой кувшин...

— Теперь он уже никому не причинит зла, — сказал Кадырали. — Но станет ли он больше самого себя?

— Конечно, — ответил Салямов. — Он станет большим, как город, когда постигнет мудрость очага.

В ТУМАНЕ

Проснулся я оттого, что кто-то громко постучал в мое окно.

По стенам комнаты плавали желтые и красные пятна. Это было похоже на ожившее сюзане. На улице слышались тревожные голоса. Разъезжались какие-то машины.

И я понял, что произошло что-то необычное.

Открыл окно. В лицо пахнуло сыростью. Судя по звукам и огням, удалявшимся в разные стороны, селение быстро пустело.

— Что случилось? — спросил я человека, нагруженного домашним скарбом, быстро пробежавшего мимо моего окна. — Что случилось и почему вы так спешите?

Человек остановился и не оборачиваясь сказал:

— Наводнение... Поспешите и вы, пока еще есть время.

Начинался дождь. Где-то там, за деревьями, за полевыми полями хлопчатника, река вышла из берегов.

Я шел вместе со всеми среди машин и повозок по дороге, которая постепенно поднималась в гору.

Навстречу нам, по смежной дороге, проследовала вниз, в район наводнения, колонна военных машин.

Толпа — это лучшее место для встреч. Я вышел на обочину, чтобы передохнуть и обдумать свое положение. Спешить мне было некуда. Я оказался в самом центре событий. Лучшей командировки и сам редактор не мог бы придумать.

И вдруг меня окликнул Назаров. Он был народным судьей. И мне часто приходилось с ним беседовать во время корреспондентских разъездов по району.

— Я еду в Андижан, — сказал Назаров. — Могу подвезти.

Я согласился. И мы двинулись в путь.

Назаров вел машину по каким-то не видимым в темноте дорогам. Далеко вокруг разливалась вода. Она перебегала через поля длинными и широкими потоками, сочилась в кюветах, лилась мелким дождем с низких облаков. Всюду мелькали фонари и факелы. Иногда

огни собирались кучками высоко над землей: это люди светили вертолетам с крыш затопленных домов.

— Машина сама идет, — сказал Назаров. — Иной раз по три раза в день по этой дороге приходится ездить!

Как в темноте в своем доме мы без труда находим дверь, стол или окно, так Назаров вел свою машину по привычной колее.

Далеко позади нас вспыхнули фары. Мы притормозили, и машина, следовавшая за нами, поравнялась с нашим вездеходом.

— Привет! — сказал Назаров, узнав инструктора райкома Хайдарова.

Машины остановились. И мы прошли пешком по воде немного вперед.

— Здесь должен быть разъезд, — сказал Назаров, вглядываясь в темноту.

— Вот он, — откликнулся Хайдаров, указывая на гранитный столбик.

Хайдаров выглядел усталым. Его плащ был тяжелым от сырости.

— Я поеду на электростанцию, — сказал он. — Там работает аварийная бригада. Считайте, что ваша машина замыкающая. Будьте осторожны, за вами никого нет. Поворачивайте встречные машины назад...

Эвакуация района была окончена за два часа.

Мы разъехались в разные стороны от гранитного столбика. И снова потянулись залитые водой поля. Иногда казалось, что мы едем на моторной лодке. Вода была неглубокая и скатывалась вся в долину, в то время как мы все время поднимались в гору.

Но вот наш вездеход въехал в глубокую колею, скользнул в сторону и остановился. Пришлось выйти из машины.

Дождь усиливался.

— Попробуем вытащить, — сказал Назаров.

Мы наваливались на машину изо всех сил, раскачивали ее, толкали вперед, но она не двигалась с места. Эластичная глина прогибалась, как на гончарном круге, под крутящимися колесами. Мотор ревел, но вязкий капкан не выпускал нас.

— Застряли! — сказал Назаров с досадой.

И вдруг мы увидели, что нам навстречу на большой скорости идет, гроыхая откинутым бортом, грузовая машина. Куда?

Шофер сигналил во тьму и мчался вперед. Каким-то чудом ему удавалось удерживаться на такой скорости в колее затопленной дороги.

Мы стали кричать и размахивать руками, чтобы он остановился. Но грузовик, гроыхая и слепя светом, промчался мимо нас. Мы едва успели выскочить из-под его колес.

— Не заметил он нас, что ли? — спросил я.

— Черта он не заметил! — ответил Назаров.

В это время мы слышали, как грузовик сильно трянуло на какой-то яме и что-то глухо шлепнулось в грязь. Но он шел с прежней скоростью, быстро удаляясь от нас.

Мы подошли к месту, где что-то оборвалось с машины, посветили фонариком и увидели, что на дороге лежит задний борт грузовика. На нем ясно читался номер «13-21».

— Визитную карточку оставил, — сказал Назаров.— Что ж, спасибо и на том.

Настроение у Назарова испортилось. Он наглухо закрыл дверцу нашей машины.

— Если будете писать об этом, — сказал Назаров,— пропустите нашу встречу на дороге с машиной «13-21».

Это не типично. — Он поглядел в темноту и добавил:— Не типично и стыдно! Конечно, нет такого закона, чтобы останавливаться, если чужая машина застряла. Судебной ответственности не подлежит... Но хотел бы я поглядеть на того шофера!

Назаров пошел куда-то в сторону, махнув мне рукой. Издалека был слышен собачий лай.

— Что там, селение? — спросил я.

— Никакого селения там нет, — мрачно отозвался из темноты Назаров.

Мы шли рядом, временами теряя друг друга из виду. Подъем стал круче, и мы вышли на твердую землю.

Впереди показалась высокая металлическая конструкция. Это был тригонометрический знак.

— Самое надежное место, — сказал Назаров. — Никогда не затапливается во время наводнения.

У тригонометрического знака — высокой, на распорках башни — мы не нашли никого, кроме собак. Со всей округи они собрались сюда, чтобы переждать наводнение. Они были мокрые, испуганные и очень миролюбивые. Потеснились, чтобы дать нам место.

Мы расположились на этой собачьей площадке и почувствовали себя в безопасности. Нашли немного сухих щепок в грудe мусора и разожгли костер.

И вдруг мы услышали, что кто-то кричит и плутает в тумане.

— Кто это еще тут может быть? — сказал Назаров.

Мы зажгли фонарик и посигналили в сторону криков. Фонарик у Назарова был мощным, на трех круглых батарейках. Луч света далеко освещал затопленные поля и деревья.

Человек вдали остановился, и вскоре мы услышали его шлепающие по воде шаги. Он, тяжело дыша, поднимался на холм. И наконец появился перед нами, вы-

мокший, продрогший, без плаща. Пожал нам руки, попросил закурить, сказал:

— Спасибо, братцы!

Потом покосился на собак и спросил:

— Это ваши?

Шофер оказался новичком. В наводнение попал впервые. Испугался. Думал проскочить. Но машина села. Пришлось бросить.

— Одному не вытащить, — пожаловался он. — Ждал попутную машину, но не дождался. Бортик где-то потерял, — добавил он, поеживаясь.

— Ну, бортник, может, еще найдется, — сказал Назаров. Светало. Над водой разносилось стрекотание вертолета.

ТАЛАЯ ВОДА

Для того чтобы проложить канал в пустыне, нужны машины, чертежи, сложные расчеты, нужны геодезические съемки на местности, а главное, нужны люди.

Особенно если эта местность долгое время была заброшенной, непригодной для жизни. Нужны люди, которые знают об этой земле хоть что-нибудь...

Инженер Шагарин рассматривал карту с нанесенной синим карандашом линией будущего канала. Ему поручено было изучить природные условия на месте и внести, если это будет необходимо, поправки в общий план.

Трассу можно было изменить, но она должна была стать экономичной и надежной основой строительства канала, рассчитанного на долговременную работу. Шагарин решил проехать по трассе. В проводники он выбрал хорезмийца Пулада.

Облик его спутника был странным. Голубоглазых

хорезмийцев называют потомками Искандера. Когда-то в этих краях проходили войска Александра Македонского, стояли эллинистические крепости. Что же удивительного в том, что Пулад был похож на эллина, хотя сама земля уже не помнила тех лет.

Но все так же цвел тамариск, воспетый Феокрытом. Шагарин возлагал на Пулада какие-то смутные надежды. Пулад оказался верным спутником, хорошим другом в скитаниях. Но об Александре Македонском он не знал решительно ничего. И вообще это был вполне современный молодой человек.

Они поехали на лошадях. И справа и слева тянулись бурые однообразные холмы, заросшие мелкой жесткой травой.

В пустыне была тишина. Все живое спряталось от палящего солнца. Время от времени они открывали фляжки и отпивали по глотку воды.

До ближайшего колодца было далеко.

И вдруг Пулад сказал:

— Смотрите!

На вершине холма стоял сторожевой джейран. Где-то за его спиной, на склонах, паслось стадо. Джейран был сильный и умный. Качнулись его рога, похожие на лиру. И в ту же секунду все стадо, в семь или восемь голов, помчалось вдаль по гребню бархана.

И пустыня наполнилась движением: джейраны, джейраны, легкие тени на бурой песчаной земле. Но вот они исчезли в знойной глубине песков. И снова вокруг ни движения, ни ветерка, ни звука.

Это и есть пустыня.

— Поехали! — сказал Шагарин. — Спасибо джейранам. Без них здесь было бы скучно.

Пулад всю дорогу заводил свой транзисторный магнитофон на полную мощность, отчего лошади пугались и фыркали.

— Пожалей лошадей, — говорил Шагарин.

— Надо было машину взять, — отвечал Пулад. — На лошадях уже никто не ездит.

Шагарин усмехнулся.

Лошади шли рядом. Звук от подков был то глухой, то звонкий. Это удивляло Шагарина. Пулад сказал, что здесь есть участки пустыни, где даже верблюжья колючка не растет.

Это было очень важное замечание.

Линия канала на карте была прямой и отчетливой. Вода из Алтын-Сая должна была пройти через барханы и слиться с маленькой речкой Чу, которая, как это ни странно, не пересыхала даже в летнее время. Другие ее притоки оживали лишь весной, а в начале летней жары пропадали в песках.

Если вести канал по той трассе, которая была намечена, то вода пойдет солончаками и песчаными участками. А это значит, что она уйдет в землю или станет горькой...

Шагарин взял пробы грунта и остался недоволен результатами анализа. Строить канал на песке — все равно что дом на песке строить: напрасный труд...

Пулад крутил магнитофон и пел какие-то новые песни, которых Шагарин не знал. В одной из них говорилось о туманах, в другой — о талой воде. У него был целый резервуар таких песен. «Талая вода!» — пел Пулад, закрывая глаза. Его песнями можно было оросить целую пустыню.

Вокруг были пухлые солончаки, редкие кусты селина, копыта лошадей утопали в песке. Лошадь Шагарина была рыжей, а лошадь Пулада — серой. Они совершенно сливались с ландшафтом. «Талая вода! Талая вода!» — пел Пулад.

Он был славный малый. И Шагарин даже пробовал подпевать ему. Но у него это плохо получалось. «Чайка взлетает над морем, помнишь ли ты обо мне...» Шагарин уже забыл, когда он пел такие песни. Ему приходили в

голову самые простые решения: забетонировать русло канала или проложить поверх песков трубы, поставить водозаборные колонки...

Но все это потребовало бы больших затрат. Понадобилось бы много времени. А канал нужен к сроку. В степи создавалось новое водохранилище. Расширялось поливное земледелие. Мелиорация требовала инженерного труда.

Наконец они добрались до речки Чу. Она была узенькая, мелкая, но берега ее заросли камышом, и ясно видны были полукружия и островки ее разливов. Лошади, мотая мордами, тянулись к камышам. Вода была пресная.

Шагарин решил взять пробу грунта именно в этих непросохших лунках. И оказалось, что в этих впадинах так же, как в самом русле, дно было каменистым.

Тогда он повел лошадей вверх по течению. По карте они сильно отклонились от намеченной трассы. И всюду река шла по каменистому руслу. Видимо, каменная гряда была ниже уровня истока.

Шагарин, если бы его спросили, о чем он мечтает больше всего, сказал бы, что он мечтает найти идеальное, то есть естественное, русло канала.

Но такого русла как будто не было...

Была лишь синяя трасса и песни Пулада, которые в общем Шагарину нравились.

Однако тот успех, который выпал на долю Пулада в чайхане, где они остановились вечером, превзошел все ожидания. Только магнитофон Пулада мог с тем же выражением и без усталости повторять все эти дожди, туманы и реки, которыми он был переполнен. Это была машина огромного водоизмещения.

Вся эта музыка сильно потревожила какого-то человека, который мирно устроился на ночлег в углу чайханы. Он вышел на свет, чтобы рассмотреть музыканта, окруженного случайными посетителями, студентами го-

родского института, которые работали на строительстве нового водохранилища.

— Мирон! — воскликнул Шагарин.

Мирон Филатов был ученый из краеведческого музея. Шагарин хорошо знал его, потому что сам был краеведом и по своей специальности, и по своему призванию.

Оставив Пулада в окружении его сверстников, забывших про сон и поющих на разные голоса: «Талая вода! Талая вода!», Шагарин и Филатов вышли на воздух и сели на деревянных мостках под звездами.

— Где ты нашел этого эллина? — спросил Мирон, глядя из темноты на белокурого Пулада. — Настоящий Пилад.

— В управлении... — ответил Шагарин. — Мы с ним очень подружились в дороге.

— Да... — протянул Мирон Филатов. — Орест и Пилад, ничего не скажешь.

Потом они заговорили о канале.

Филатов был по существу своей работы мелиоратором. Но своеобразие его труда состояло в том, что он изучал древние системы улучшения земли. При этом он был уверен в возможности и надобности координации новейших народнохозяйственных планов с данными истории древнего мира, поскольку новь росла на старой земле.

Когда он узнал, что предполагается строить канал в тех самых местах, где несколько лет вел изыскательские работы, он пошел в строительное управление. Там очень удивились явлению археолога «из-под земли» и предложили ему побеседовать с Шагариным.

Но Шагарин уже уехал в поле. Тогда Мирон Филатов взял отпуск за свой счет и поехал за ним следом. Однако найти его в степи было не так-то легко.

Он решил ждать Шагарина в придорожной чайхане. В конце концов, он непременно здесь появится, если его до сих пор здесь не было. Две тысячи лет назад здесь

проходил глиняный водопровод длиной в 27 километров. Рельеф местности с тех пор мало изменился. Лишь уровень воды в реке понизился.

Мирон Филатов рассматривал карту и сказал:

— Видишь ли, здесь, почти рядом с твоей трассой, протекает русло другого канала, который был проложен, по-видимому, воинами Искандера. И канал этот действовал достаточно долго. На кувшинах, найденных при раскопках, есть изображения чайки. Возможно, что землетрясение опустошило эти места.

— Я проехал через пески на лошадях и ничего этого не увидел, — сказал Шагарин.

— И не мог увидеть. Надо было взять машину — вертолет, например. С воздуха видно. Впрочем, все это описано в книге, которая называется «Топографические подробности Песчаной Александрии». Это коллективная работа. Там много авторов. Есть и моя статья, но по другому, частному вопросу...

— Пулад здешний житель, но он ничего этого не знает, по-видимому.

— В этом тоже нет ничего удивительного, — сказал Филатов. — Никаких песен, никаких сказок об этом канале не сохранилось... Те, кто помнил о нем, давно покинули эти места, и память исчезла вместе с ними. «Природа знать не знает о былом...» Для памяти нужен человек, нужна традиция, история. Моя статья, между прочим, называется «О причинах отсутствия топонимики Песчаной Александрии». Само это название условно, его предложили археологи...

— Каким же образом удалось найти русло канала?

— Случайно. При аэрофотосъемке. Весной во время дождей русло канала проступает темной полосой... Видишь ли, все это надо увидеть. Исторический культурный слой оказался разрушенным. Но сохранились следы инженерной цивилизации, которые иногда бывают столь же драгоценны, как какой-нибудь фрагмент из Калли-

маха. «Феб положил основанье для стен городских изначала...» И вот почему так важен этот след.

Из открытых окон доносилась музыка.

— Талая вода? — спросил Шагарин.

— Да, талая вода и дожди, — ответил Мирон. — Историческое русло бывает столь же надежным, как естественное.

В густой белой пыли целый год трудились экскаваторщики, шоферы, каменщики, инженеры. Вырыли в горячей степи огромный котлован и подвели к нему тоненькую ниточку канала.

И потекла вода, серенькая, мелкая, тихая, по узкому руслу в глиняную чашу. Казалось, что эту чашу наполнить невозможно. Но вода об этом не думала. Она трудилась и утром, и днем, и вечером, и ночью.

Сначала капли свертывались в пыльные шарики, но потом пыль растворилась, и тысячи и тысячи капель соединились вместе. Вода поднималась и наполняла чашу.

Экскаваторщики и шоферы уехали на другую стройку. А в белом домике на краю Песчаной Александрии остался смотритель вод. Каждое утро он измерял длиной белой рейкой с красными цифрами высоту водного зеркала и записывал числа в тетрадь.

— Скоро здесь будет море, — говорил он.

Но вокруг была пыльная горячая степь. И ничего похожего на море. Только вода все прибывала и, странное дело, меняла свой цвет. Сначала она была серая, желтая, а потом в ней стал пробиваться цвет неба.

Постепенно разрастались водоросли, высаженные у берегов, уже мелькали острые плавники рыб, выпущенных в водоем. Но самое удивительное и важное событие произошло весной, когда талая вода с гор переполнила реки. Смотритель выглянул из своего белого домика и увидел чайку.

Как она попала сюда, он не знал. Но чайка летела над синей водой, опускалась к волнам, поднималась к тучам, как будто кто-то издалека махал зрителю белым платком.

БЫСТРЕЕ МЫСЛИ

Корецкий называл их дилетантами.

Один разводил змей, другой приручал джейрана жить в квартире, третий пытался сдружить лисенка с фокстерьером. Почти никто из них не знал ни биологии, ни зоологии, ни ботаники.

Руководствовались одним чутьем и несомненным чувством любви к природе. Этого чувства у них отнять было нельзя. Ради природы и любви к ней они готовы были терпеть большие неудобства...

Увлечение начиналось весельем, а заканчивалось чаще всего слезами.

Змей ускользали по бельевой веревке или по водосточной трубе, и приходилось их вылавливать с огромным трудом и риском для жизни. Джейран разбился насмерть, скользя по ступенькам высокого крыльца. Фокстерьер так и не привык к лисенку...

Горе дилетантов во всех случаях было неподдельным.

Сентиментальные похищения у жизни оборачивались жестокостью по отношению к природе.

Домашние животные давно уже отобраны временем и человечеством. И ничего прибавить к этому невозможно. Корецкий не любил дилетантства во всем, что касалось природы. Он признавал необходимость зоопарков, потому что в них можно изучать фауну разных широт. Любил цирк за профессиональное мастерство и красо-

ту необычайных зрелищ, когда дикие звери склоняются перед волей человека. Но заповедники Корецкий считал великим и благороднейшим изобретением человека, осознанным лишь в наши дни.

Корецкий читал лекции в школах и в клубах от общества «Знание» на тему «Человек и природа». Главная мысль его состояла в том, что дилетанты природы губят своей слепой любовью именно то, что любят больше всего.

Джейран, попавший во двор к какому-нибудь любителю природы, непременно погибал, какие бы меры предосторожности ни принимались...

Нет, конечно, не все дилетанты безнадежны. Иные из них благодаря своей любви к природе приходили к тому, что Корецкий называл уважением к жизни, ее законам и тайнам.

Он особенно настаивал на этом последнем слове — тайна.

Без уважения к тайнам природы, к тому, что еще не познано, и к тому, что человек не может создать с помощью своего ума, науки и техники, нельзя ничего построить, ничего сохранить. Поэтому он считал, что только достойный человек понимает достоинство природы.

На его глазах лик пустыни смягчался, приобретал новые живые черты.

Понадобилось усилие многих ученых, рабочих, охотников, археологов, понадобились огромные государственные средства для того, чтобы преодолеть полосу отчуждения, которая отделила пески от их вечных обитателей, чтобы победить страх, который земля внушала самой себе.

Слишком часто мы приписываем стихии те опустошения, которые были делом рук человеческих.

Так, прошли те времена, когда фауну этих мест можно было изучать «на природе»; теперь надо было искать ее в библиотеках.

И Корецкий просматривал новейшие книги и старые рукописи, энциклопедии и словари. Он составлял подробнейшую картотеку и надеялся со временем издать исторический атлас животного мира Алтын-Сая.

Однажды в Академии наук он встретил известного археолога, который между прочим показал ему фреску с изображением пирующего семейства. Археолога восхищала свежесть красок, сохранившихся от древних веков. Он находил на этой фреске множество исторических и этнографических подробностей.

Между пирующими расхаживали гепарды. Настоящие гепарды, вытянутые и сильные, как стальная пружина.

Дилетанты природы смотрели с фрески на Корецкого непринужденно и весело: они пировали...

А в заповеднике не было ни одного гепарда.

Корецкий был взволнован. Вернувшись домой, он раскрыл томик стихов старого поэта и долго искал двестише, поразившее его однажды:

И замер вдруг на звездном коромысле
Гепард, который был быстрее мысли.

Быстрее мысли... Не наносит ли исчезновение гепардов некоторого ущерба не только природе, но и самой мысли?

Томик стихов лежал на Красной книге, в которую занесены уже многие виды исчезнувших или исчезающих животных.

Корецкий приготовил письмо в столичный зоопарк с просьбой выделить для заповедника семью гепардов, когда мастер Омар, прививавший лозу на винограднике, сказал ему, что у одного доброго человека, настоящего дилетанта природы, есть целый выводок гепардов.

Омар Алиев был замечательный мастер. Его всюду приглашали прививать виноград. У него был зеленый

«Запорожец», на котором он колесил по городам и селениям. Поэтому он знал всех и все. Ездил он обычно медленно, без суеты. Виноградники под его руками начинали тянуться вверх с необычайной быстротой.

Добрый человек, о котором говорил Омар, нашел гепардов далеко в песках, где почти никогда не бывают охотники. Большая кошка была ранена и приползла к котяткам, чтобы защитить их или успокоить... Большую кошку спасти не удалось. А котятки попали в хорошие руки.

Этот добрый человек был пастух. Он не знал ни биологии, ни зоологии, ни ботаники. Руководствовался одним чутьем. Но он спас этих самых гепардов, может быть, последних в нашем краю...

И Корецкий в первый раз почувствовал сам себя дилетантом природы по сравнению с этим безымянным пастухом, наследником бесчисленных поколений, населявших эту пустыню от времен далекой древности.

В конце концов дилетанты природы были старше науки. И кто определит ту грань, где кончается народный опыт и начинается научное знание?

Пастух не знает, как гепарды называются по-латыни. Но он знает что-то другое, что заставляет его взять целый выводок «котят» в свой дом.

И нечего раздумывать.

— Едем! — сказал Корецкий Омару.

— На дворе ночь, — ответил виноградарь и побежал в гараж.

Когда Корецкий вышел на крыльцо, машина уже была готова.

— Найдем дорогу? — спросил он.

— Найдем, — ответил Омар, — тем более что там и нет никакой дороги!

— Гони! — сказал Корецкий. — Быстрее мысли!

БЛАГОРОДНАЯ БУХАРА

Хакими давно приглашал меня приехать к нему в гости в Бухару.

— Я покажу тебе город, как никто! — говорил он.

И в самом деле, лучшего гида невозможно было себе представить.

Хакими был историк. Читал и говорил на многих языках.

Он был человек стремительный. И я никогда за ним не поспевал.

Ему казалось, что я слишком долго собираюсь.

Благородная Бухара!

Наконец я сел в поезд и отправился в путь.

Хакими встретил меня на вокзале.

— Я живу возле облоно, — сказал он. — Во дворе...

Мы доехали до города в такси и пошли по узким улочкам.

Голубая башня плыла над нами на ужасающей высоте.

— Этой башне восемьсот лет, — сказал не оборачиваясь Хакими.

Я загляделся на эту высоту. И вспомнил, что Ходжа Насреддин сравнивал минарет с колодцем, вывернутым наизнанку. Я хотел сказать об этом Хакими, оглянулся, но его уже не было рядом со мной.

Я потерял его из виду, потому что никогда за ним не поспевал.

Узкие улочки были похожи одна на другую.

Сначала я растерялся. Потом решил ждать, не сходя с места. Возле минарета, похожего на вывернутый наизнанку колодец. Хотя бы пришлось ждать восемьсот лет!

Каменные плитки минарета, плотно пригнанные одна

к другой, образовывали совершенную поверхность. Взгляд скользил по ним до самого верха, нигде не останавливаясь.

А внизу лепились глиняные и каменные домики с узкими маленькими нишами, окошками и гнездами ласточек.

Я сел на чемодан и стал разглядывать прохожих. Некоторые из них здоровались со мной. Не потому что были знакомы, а просто из вежливости.

Но Хакими!

Так и будет мчаться вперед, разговаривая с самим собой, покуда кто-нибудь не спросит его: «Достойнейший, с кем это вы разговариваете, если не секрет?..»

Небо, полное горячего воздуха, казалось красноватым. И плотным, как грунт. Даже слегка потрескавшимся от зноя. Я стал припоминать то, что было восемьсот лет назад... И улетел в такую даль, что перестал замечать все вокруг.

Такой же был душный вечер. Так же шел народ по своим делам. И какой-то путник, потерявший проводника, задумался о времени...

Возле меня остановился немолодой человек в зеленом халате. Он внимательно смотрел на меня, на мой чемодан. Потом, приложив руку к груди и слегка поклонившись, сказал:

— Я вижу, что вы впервые в нашем городе. Мой долг помочь вам, если вы в чем-нибудь нуждаетесь.

— Спасибо, — ответил я, поздоровавшись с ним, — но я ни в чем не нуждаюсь.

— Это приятно слышать, — продолжал мой собеседник. — Но если вы, например, потеряли вашего спутника и не знаете, куда идти, я могу помочь вам.

«Может быть, он видел, как я с чемоданом бегал по

улице и окликал Хакими? — подумал я. — Все может быть...» И я решил быть с ним откровенным.

— Вы угадали, — сказал я. — Действительно, мой спутник как-то неожиданно исчез. И теперь я не знаю, куда мне идти, в какую сторону...

Моего нового знакомого звали Мансур. Он был гончарный мастер и вышел немного погулять и подышать свежим воздухом. «Где он тут нашел свежий воздух?» — подумал я.

Стоял август. Жара была невероятная.

— Может быть, вы знаете, где находится облоно? — спросил я.

— Почему не знаем? — ответил Мансур. — Кто-нибудь должен знать...

«Вот удивится Хакими, — подумал я, — когда увидит, что я сам разыскал его».

— Пойдемте, — сказал Мансур, — я с радостью покажу вам дорогу...

Он даже хотел взять мой чемодан, но я воспротивился этому. И мы вдвоем отправились в путь.

Мансур шел впереди, а я следом. Он шел неторопливо, и я легко попевал за ним. С моим проводником все здоровались и глядели на меня с большим вниманием.

— Вот человек, — объяснял Мансур. — Он приехал к нам в гости и не знает дороги. Наш долг помочь ему. В Бухаре нетрудно потеряться, потому что Бухара — великий город. И очень древний...

И все с ним соглашались.

— Да, да, наш долг помочь ему. Потому что он впервые в нашем городе и к тому же не знает дороги.

Некоторые подходили ко мне и жали мою руку. Иные провожали нас немного, а потом возвращались к своим делам. «Он потерялся в Бухаре!..» Весть об этом, кажется, уже опережала нас.

— Кто тут потерялся в Бухаре? — спросил почтенный

седой старик на высоком белом ослике, проезжая мимо нас. — Да будут здоровы и благополучны его родители!

Мансур иногда поворачивался ко мне и предупреждал:

— Вот здесь камень лежит, не упадите... А здесь яма оставлена, не оступитесь... Ее скоро заруют. В следующий раз, когда приедете в Бухару, не узнаете...

Мансур был самый вежливый человек на свете.

Так мы прошли квартала три или четыре. Было не поздно, однако начинало уже смеркаться.

Мы по-прежнему оставались в центре внимания всех, кто сидел у ворот, или проходил по улице, или просто так стоял на крыше своего дома.

Стайки мальчишек провожали нас на почтительном расстоянии. Вид взрослого человека, который потерялся на улице и которого провожают до дома, их очень развлекал. Один из них подбежал ко мне, дернул за рукав и с тихим смехом скрылся в переулке.

Мансур сказал мне, что он недавно поступил в городское экскурсионное бюро. На общественных началах... Будет водить экскурсии по городу.

Но пока еще только готовится. Он даже написал речь о достопримечательностях города. И осталось только, чтобы ее прочитал и одобрил один известный ученый.

— Здесь живет достойный человек, — сказал мне Мансур, указывая на голубые ворота. — Я думаю, что мы могли бы зайти к нему, чтобы передохнуть немного. Одну пиалу чаю, а? И потом сразу в облоно!

Признаюсь, что жара меня одолела. И я сразу согласился. Пиала чаю — благодеяние после жаркого дня.

Достойный человек оказался зубным врачом. Он тут же заставил меня раскрыть рот при свете рефлектора. Но для пломбы не нашлось подходящего места, о чем

он очень сожалел, хотя и похвалил меня за крепкие зубы. Он показал мне новую бормашину, привел ее в действие, объяснил, как она устроена.

Нас усаживают за стол. Наливают пиалу чаю. Мы говорим о том, как хорошо, что я встретил Мансура, и что бы я без него делал.

Между тем Мансур о чем-то шепчется в коридоре, озабоченно говорит с кем-то по телефону. До меня доносятся слова: «Облоно... облоно... облоно...»

Наконец мы прощаемся с достойным человеком и выходим на улицу.

Уже стемнело. И никто больше не обращает на нас внимания. И людей на улицах стало меньше.

Мы проходим через какой-то обширный двор.

— Здесь живет мой родственник, — говорит Мансур. — Нельзя пройти мимо и не зайти к нему... Он обидится!

Родственник Мансура был садовником. Он непременно хотел показать мне образцовый виноградник. Поэтому приглашал остаться у него до утра. «Утром посмотрим виноградник, а потом — сразу в облоно!» — обещал он.

Мы пили чай, разламывая свежие лепешки. И разговаривали так, как будто не виделись восемьсот лет. И я даже стал как-то забывать про облоно.

Но Мансур не забывал. Он опять с кем-то разговаривал по телефону. И вдруг я догадался, в чем дело.

— Мансур, — сказал я. — Признайтесь, что вы не знаете, где находится облоно.

— Извините меня, — ответил он. — Мы не знаем, где находится облоно. Все знаем, а облоно не знаем. Что такое, ради аллаха, облоно? Объясните нам, тогда мы, может быть, вспомним...

Но в это время в комнату вошел молодой человек, похожий на Мансура. В руках у него была цепочка с автомобильными ключами.

— Знакомьтесь, — сказал Мансур. — Это мой сын. Он таксист.

— Вам в областной отдел народного образования? — сказал он. — Поедемте!

Мансур воздел руки. Областной отдел народного образования. Как он не догадался сразу. Там живет известный Хакими, во дворе...

Мы простились. И я уехал с сыном Мансура в голубой «Победе», которая легко скользила по узким улочкам между глиняными дувалами.

У ворот своего дома прохаживался Хакими, покуривая сигарету.

— Где ты был? — закричал он, бросаясь ко мне навстречу. — Я тебя разыскивал по всему городу. Мне сказали, что ты ушел с Мансуром. Тебя все видели...

— Я был в гостях у достойного человека, — ответил я. — Это сын моего друга, нового друга, — добавил я, указывая на шофера такси.

Но оказалось, что Хакими его тоже знает.

— Здравствуй, Юнус, — сказал он. — Передай отцу, если он хочет, чтобы я одобрил его экскурсию на общественных началах, пусть лучше изучит город и не водит наших гостей по своим родственникам и знакомым. И пусть не перехватывает моих друзей.

В древнем городе Бухаре много аистов. Они живут на крышах домов, у водоемов, на могучих деревьях, на каменных башнях — минаретах.

На зиму аисты улетают в теплые страны. А весной возвращаются на старые места. Они летают над городом, раскинув свои бело-черные крылья. Или стоят в гнездах, спрятав клюв в белых перьях на груди.

Гнезда у аистов сложены из прутьев. Аист птица белая, высокая и верная.

Я увидел огромное гнездо, похожее на прочную кор-

зину или на опрокинутый купол. И удивился: как это аист мог сплести столько веток?

Оказалось, что этому гнезду триста лет. Каждый год, век за веком, аисты строили свой дом. И получился он высокий, славный и красивый, как Бухара.

У СТАРОГО КОЛОДЦА

Чайханщик Мамед на ослике с запасом риса, чая и батареек для транзистора возвращался однажды вечером из райцентра. Возле старого, давно заброшенного колодца при въезде в кишлак он услышал какие-то странные звуки, которые шли как будто из-под земли. Серый ослик Мамеда, помахивая длинными ушами, прибавил шагу. Мамед подъехал к колодцу, но заглянуть в него не решился. Зато ослик, неразумное животное, сунул морду в колодец и вдруг закричал, заплакал от радости, словно увидел там своего старого знакомого.

Крики замерли в глубине... Больше не слышно было ни звука. Мамед, не сходя с седла, спросил:

— Есть тут кто-нибудь?

Ответа не последовало.

Время было позднее, темное.

«Может быть, это злой дух?» — подумал Мамед. Он хотел опять заглянуть в колодец, но потом раздумал.

«Меня ждет народ, — сказал он себе. — Я везу рис, чай и батарейки для транзистора. Могу ли я тратить время на какого-то злого духа, которого не существует? И потом... Я не могу рисковать...»

Повернув своего серого ослика, который почему-то заупрявился, Мамед поехал своей дорогой, с двух сторон обсаженной тополями.

На окраине кишлака, возле гаража, он встретил своего приятеля Самеда и рассказал ему обо всем, что случилось у старого колодца: как он ехал тихо и достойно на сером ослике с запасом чая, риса и батареек для транзистора, как услышал нечестивые крики и как ослик, неразумное животное, сунул морду в колодец.

— Кто же там был? — спросил Самед, продолжая чистить тряпочкой новенькую «Волгу».

— Самед, ты мне друг и тебе я скажу всю правду, — Мамед наклонился к Самеду и прошептал: — Там был злой дух!

Самед рассердился. Он перестал полировать «Волгу» и сказал:

— Ты темный человек! Злой дух бывает в чайхане, когда сгорит плов...

— Этого никогда не бывает! — запротестовал Мамед. — Будь я проклят, если у меня в казане когда-нибудь сгорело хоть одно зернышко риса...

Друзья чуть не поссорились.

Самед был хорошим шофером, много видел, несмотря на свою молодость. Мамед особенно уважал его за то, что он окончил курсы в городе и получил удостоверение с фотографией.

— Не сердись, Мамед, — сказал Самед. — Ты прав. Лучшего плова, чем у тебя в чайхане, я не пробовал нигде.

— Да, — согласился Мамед. — Злой дух всегда старается поссорить добрых людей. Мой отец говорил мне: «Эй, Мамед, держись подальше от злого духа, обходи, объезжай его стороной, если можешь... »

Но тут Самед опять рассердился.

— Поворачивай своего осла, — сказал он. — Я докажу тебе, что для злого духа в природе нет физической возможности.

С тех пор, как Самед окончил курсы, он любил повторять ученые слова. Например: «Нет физической возможности».

Серый ослик, неразумное животное, охотно повернул к колодцу и потрусил по дороге, с двух сторон обсаженной тополями. Вообще-то этот ослик принадлежал не Мамеду, а почтенному Мураду, который приходился родным дядей Самеду. Мурад часто бывал в чайхане Мамеда, но редко платил за плов. Обычно у него не было с собой денег.

И вот однажды он сказал Мамеду:

— Мамед! Возьми моего ослика вместе со всей сбруей, а я потом, когда у меня будут с собой деньги, выкуплю его.

И вот теперь Мамед ехал на чужом ослике прямо в лапы злого духа, для которого в природе нет физической возможности. Самед шел рядом с ним, и нельзя было уклониться от возвращения к старому колодцу.

Мамед вовсе не хотел проверять, действительно ли существует злой дух или для него нет в природе никакой физической возможности. Но Самед заставлял его ехать вперед.

— Самед, — сказал добрый чайханщик, — не лучше ли вернуться домой, а? Я приготовлю чай... У меня есть настоящий цейлонский, первый сорт!

— Нет, — ответил водитель. — Мы пойдем к колодцу и посмотрим, что там такое...

Наконец они оказались у цели. Серый ослик сунул было морду в колодец, но Мамед сошел с седла на землю и оттащил его в сторону. Пусть будет подальше. На всякий случай...

И Мамед привязал ослика к дереву у дороги, подальше от колодца. Мало ли что может случиться? Может быть, завтра Мурад явится за своим добром?

— Сейчас увидим, — сказал Самед.

— В такой темноте ничего не увидишь, — заметил Мамед. — Может быть, услышишь? Это другое дело...

Взошла луна. Резко обозначились на земле две тени — толстый Мамед с круглыми плечами и длинный Самед.

— Есть тут кто-нибудь? — закричал Самед, склонившись над краем колодца.

— Есть, — ответил тихий голос из-под земли.

Затем послышались странные звуки, похожие на старческое кряхтенье.

Мамед стал потихонечку отступать к своему ослику. Самед не шевелился.

Наконец он спросил шепотом:

— Мамед, где ты?

— Я здесь, — ответил Мамед и спрятался за дерево.

— Подойди ко мне, — сказал Самед. — Будем кричать вместе.

— Зачем? — ответил Мамед. — У тебя хороший голос. Далеко слышно. Кричи ты один. Я буду слушать...

Тогда Самед собрался с духом, наклонился над краем колодца и закричал:

— Повтори, пожалуйста! Я не расслышал. Есть тут кто-нибудь?

— Есть! — ответил тот же голос из-под земли. — Сколько раз тебе повторять? — добавил злой дух ворчливо. — Самед, это ты?

— Дорогой дядя! — воскликнул Самед. — Теперь я узнал вас. Но как вы сюда попали?

— Сначала помоги мне выбраться отсюда, — отвечал дядя Мурад, — а потом я отвечу на все твои глупые вопросы.

Самед и Мамед благодаря аллаху вытащили дядю Мурада из колодца.

Нет, это был не злой дух. Это был добрый дядя Мурад, живой, здоровый, только немного пьяный и сонный.

Дядя Мурад полежал на спине. Потом полежал на животе и спросил, готов ли плов, потому что он очень проголодался в колодце. Из-за пазухи он достал свою тюбетейку и надел ее на голову. Он не спрашивал, который час, потому что час спасения из преисподней — прекрасное время, когда бы оно ни наступило, поздно или рано.

Тем более что дяде Мураду некуда было спешить. Его только что освободили от занимаемой должности.

Дядя Мурад всегда приходил в чайхану, когда его освобождали от занимаемой должности. А так как он нигде не мог удержаться больше двух или трех дней, то он почти не выходил из чайханы.

Работал он и караульщиком, и учетчиком, и весовщиком; однажды был даже уполномоченным!

Но он ничего толком делать не умел. Единственное, в чем он действительно был мастер, — это прививка виноградника. А виноградников в совхозе еще не было.

Все дело в том, что дядя Мурад, если он выпьет немного вина, работать уже не может. Ложится спать где придется: в чужой арбе, на весах среди хлопкового двора или даже в старом колодце, если колодец сам подвернется под ноги.

— Но позвольте вас спросить, дорогой дядя, — сказал Самед. — Почему вы так громко кричали, когда около колодца никого не было, а когда к нему подъехал наш друг Мамед, вы вдруг замолчали. Он очень испугался.

— Это был ты, Мамед? — спросил дядя Мурад. — Я думал, что это злой дух. — Он даже приподнялся на локте, чтобы получше рассмотреть Мамеда. — У тебя была такая большая голова и такой ужасный голос, я чуть не умер от страха.

Серый ослик наставил уши. Но Мамед отвязал его от дерева, взобрался в седло и сказал:

— Меня ждет народ! Я не могу терять времени с этим бездельником Мурадом!

И он поехал по дороге, с двух сторон обсаженной тополями.

В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПАЛАТКЕ

До лагеря Горяинова мне пришлось добираться на верблюде. «Хорошо, — подумал я, — но как на него взобраться?»

Караванщик дернул веревку и тихонько сказал:

— Шш...

И верблюд пөнял: он подогнул в коленях сначала передние, а потом задние ноги и опустился на землю. При этом он высоко поднял голову и посмотрел по сторонам равнодушными глазами.

Теперь нетрудно было сесть в седло.

Караванщик велел мне держаться крепко, дернул веревку и сказал:

— Шш...

И верблюд понял. Он распрямил задние ноги так, что я чуть не полетел вперед через голову, а потом распрямил передние ноги так, что я чуть не полетел назад.

Теперь я был очень высоко, в седле, на верблюде. И я подумал: как же с него слезть?

Верблюд повернул ко мне голову и сказал: «Шш...»

К вечеру тучи закрыли небо. На раскопках остался один Надеждин.

Начальник изыскательской партии Горяинов пригла-

сил меня в свою академическую палатку. Словно так вот и должно быть: идет дождь, можно отдохнуть... И все отдыхают. Кроме Надеждина.

Если откинуть полог палатки, то можно увидеть, как Надеждин в плаще под большим зонтом ходит по раскопу, смотрит то в небо, то на землю и как будто разговаривает сам с собой. И где-то поодаль маячит в тумане серый верблюд.

Странный человек этот Надеждин. И так не похож на Горяинова! А между тем они были друзьями и уже много лет работали вместе. В сущности, они вместе и начинали. С тех пор прошло много лет. Горяинов сделал серьезное научное открытие, и часть его славы перешла к Надеждину.

Надеждин попал даже в поэму известного поэта, посвященную археологам.

Румянец дикий юности в сединах! —

это был портрет Надеждина. Что-то юношеское было в нем, несмотря на его тридцать пять лет.

Надеждин не любил эту поэму и говорил, что автор ее ничего не увидел на раскопках. Между тем он увидел Надеждина!.. И этот румянец дикий юности в сединах.

Горяинов уже вписал свое имя в историю науки. Что касается Надеждина, то он попал в поэму. Кроме того, как говорил Горяинов, имя Надеждина навеки было вписано в телефонные книги его друзей. Некоторые принимали слова Горяинова за злую шутку. Но Горяинов не шутил и объяснял, что лучшего друга, чем Надеждин, ему, Горяинову, никогда не случалось встречать за всю жизнь.

Горяинов был академик, с большими планами, деловитый и твердый. А Надеждин, с которым он когда-то

вместе учился на одном курсе в университете, так и остался вечным кандидатом.

Для докторской диссертации у него не хватало характера. Что касается материала, то его хватило бы с избытком на несколько диссертаций. В сущности, этот избыток его и губил. Он был похож на человека, который строит целую флотилию, но ни одного корабля не было готового для того, чтобы пуститься в плавание...

Кроме того, Надеждин склонен был расплыться... Он увлекался живописью, написал интереснейшую статью по математической логике, собрал огромную картотеку сведений о старинных парусных судах... Собирался ехать на Алеутские острова.

Но Горяинов не позволял ему расплыться, насколько это было возможно. И неизменно включал его в свою экспедицию, опасаясь, что иначе он весь распылится, как драгоценный раскоп под рукой легкомысленного археолога.

Был такой археолог в партии Горяинова. Он так истово и трудолюбиво расчищал культурный слой, что остановился только тогда, когда докопался до грубого и бессмысленного камня.

Надеждин отобрал у него археологический нож и вооружил его щеткой.

— Золото добывается просеиванием, — сказал Надеждин, — а не рассеиванием.

И подобрал с земли скифскую стрелу, которая была отброшена ретивым археологом вместе с кучей мусора. Этой стрелой он пользовался потом как указкой.

Если Горяинов был строгим разумом экспедиции, то Надеждина можно было назвать неприкаянной душой раскопок. Неприкаянной, потому что он вдруг мог оставить начатое дело и заняться чем-нибудь другим. Например, в то время как все изучали расположение древнего селения, поглощенного песками тысячу лет назад, Надеждин углублялся в современную систему ме-

лиорации того района, где было расположено городище.

И Горяинов не мешал ему. Это многих удивляло. Надеждин прочитал свой доклад в узком кругу, в палатке Горяинова. В докладе речь шла о крепости, будто бы расположенной рядом с раскопками. Это была или сенсация, или чистый вымысел.

Горяинов молча пил кофе, слушая доклад Надеждина. Потом сказал:

— Приобщите ваш доклад к отчету экспедиции как приложение № 1.

В приложение Горяинов относил те документы, которые считал наиболее важными и ценными. Обычно такие документы принадлежали Надеждину.

Горяинов и Надеждин были похожи на гончую с охотником. И в этом нет ничего обидного для Надеждина. Он поднимал дичь на крыло, а бить-то должен был Горяинов, потому что Надеждина хватало только на то, чтобы любоваться ее полетом.

У Надеждина было настоящее чутье на неизвестное.

— Многие думают, — говорил Горяинов, — что Надеждин нашел крепость Тура-Тюбе. Так вот. Это была ошибка. Но какая? Талантливая! Он принял за очертания крепости природную гряду. Но дело в том, что эта природная гряда действительно служила укрытием для крепости, которая потом была найдена в пяти километрах южнее, — Горяинов показал нам стрелой по карте путь от гор до крепости. — Что это доказывает? Это доказывает, что Надеждин видит все не так, как оно есть на самом деле. Но как? Я уже сказал: талантливо!

Где бы ни поселялся Надеждин, очень скоро вокруг него появлялись живые существа — собаки, ежи, сороки. Он их кормил, лечил, играл с ними, разговаривал, и они его отлично понимали.

В экспедиции был верблюд по кличке Бек. Он ходил по пятам за Надеждиным и, как уверял Горяинов,

«сыграл свою важную роль в науке...» Благодаря Беку Надеждин успел осмотреть огромные пространства вокруг раскопок и сделать множество зарисовок с натуры.

Горяинов, живший в одной палатке с Надеждиным, не знал ни минуты покоя. Ежи заползали к нему под одеяло, собаки рычали на него у порога, сорока будила на рассвете. Но он все это переносил кротко, потому что все это, как он говорил, было послано ему богом для испытания его терпения.

У Горяинова в рюкзаке было множество полезных вещей: кофейник, спиртовка, зажигалки разных систем с запасом кремневых камешков, самопишущие ручки с чернилами, финики в прозрачных пакетах. У Надеждина весь багаж состоял из полупустого чемодана с запасом чистого белья и старой растрепанной книжки стихов.

Горяинов любил устраиваться в походных условиях с комфортом. Он никогда и никуда не спешил. Случалось, что Надеждин надолго уезжал из экспедиции. И Горяинов его не удерживал, но сам никогда не отлучался, пока раскопки не будут окончены.

Могло показаться, что Надеждин недисциплинирован. Но его мысли всегда были направлены к решению общей задачи. И Горяинов это знал. Однажды Надеждин попал в состав другой экспедиции, где от него потребовали дисциплины прежде всего. И оказалось, что Надеждин может быть дисциплинирован. Зато в отчете этой экспедиции не оказалось приложения № 1.

— Так вот, — продолжал Горяинов, — сейчас мы заварим кофе покрепче. У меня есть отличный кофе. Перед отъездом купил в Доме ученых. Дождь, кажется, зарядил надолго. Я вам изложу свою теорию практической археологии. Так вот. Мы изучаем природу и находим в ней полезные ископаемые: нефть, уголь, золото, которые украшают и согревают нашу жизнь. Так

же и археологи находят в земле полезные ископаемые: чаши, стрелы, пластины с изображениями сцен из жизни древних народов, забытые имена, которые тоже украшают и освещают нашу жизнь...

Надеждин откинул полог палатки, заглянул в нее и сказал:

— Я вам не помешал?

Следом за ним в палатку заглянул Бек, пережевывая ломкую ветку пустынной колючки.

МИТРОХИН

У лесника Митрохина есть мотоцикл с коляской. Он ездит на нем по лесу и глядит, где что...

В коляске у него все, что нужно для работы. А работа у него повсюду: там дерево надломилось, надо его поправить, иначе оно пропадет; там скворечник надо поставить, чтобы птицам было где жить.

Однажды Митрохин привез в коляске медвежонка. Он сидел испуганный и злющий, но смирный. У него была обожжена лапа. Возле Алтын-Сая попал он в лесной пожар...

Митрохин стал его лечить. Даже в город ездил в ветеринарную больницу советоваться с врачом.

И выздоровел медвежонок. Стал по всему дому ходить, по двору. Выбрал себе место для жилья на чердаке. Тепло, сухо и далеко видно. И лестница есть. Понравилось медвежонку по ступенькам забираться на чердак. Смотрит сверху и все замечает. Если кто-нибудь к воротам подходит, ворчит медвежонок: не нравится ему.

Приезжали из городского зоопарка, предлагали Митрохину:

— Продай медвежонка!

Он отказался.

— Мне, — говорит, — это ни к чему. Пускай в доме живет.

Жена Митрохина вернулась к осени, говорит:

— Что такое! Медведь в доме! Не пушу!

А лесник посмеивается:

— Ничего! В тесноте, да не в обиде...

А тут медведица пришла. Стала медвежонка звать. Тот испугался, спрятался на чердак, слушает, что ему медведица говорит, только уши торчат.

Митрохин ворота отворил, а сам вошел в дом.

— От всех, — говорит, — оградил, а от родной ма-тушки нельзя.

Закурил махорочку, смотрит в окно. Медведица в воротах маячит. Один бок ее густой шерстью зарос — память от лесного пожара. Видно, потеряла она тогда своего медвежонка, а теперь разыскала, и он ее сразу вспомнил.

Сполз медвежонок с лестницы, урчит, повизгивает. Подошел к воротам. Поднялся во весь рост и обожженной лапой машет. Лапа давно зажила, а как в лес идти, он опять о ней вспомнил.

— Ну, прощай, прощай! — сказал Митрохин.

И ушли медведи в лес.

Митрохин вышел во двор, закрыл ворота и стал чинить свой старый мотоцикл с коляской.

Было мне лет восемь. Митрохин сказал:

— Хочешь волчонка поглядеть?

— А где?

— Попроси у отца бинокль, тогда увидишь...

Ближе к вечеру мы пошли с Митрохиным через лес-

ничество к скалам, откуда начинается спуск в долину. Залегли в кустах.

Митрохин говорит:

— Гляди в оба!

Быстро темнело. По небу бежали тучи. Наконец взошла луна.

— Волчье солнышко! — сказал Митрохин. — Сейчас объявятся.

И вот шевельнулись кусты далеко-далеко на скате. И на полянку выскочил щенок. Он покрутился на месте, почесал лапой за ухом и тявкнул. Я не слышал его голоса, но в бинокль видел ясно, как он скалит зубы.

Я протер стекла рукавом рубашки и снова приставил бинокль к глазам.

Рядом со щенком уже стояла волчица. Она загородила щенка и поглядела на меня. Ее глаза вонзились в мой бинокль.

— Учужала, — сказал Митрохин, наблюдая за волками в свою старенькую подзорную трубу, которую всегда носил с собой в кармане.

Волчонок валялся по земле, дурачился. Волчица рыкнула на него. Он сразу сел на хвост, поднял уши и уставился на меня.

— Что она ему сказала? — спросил я.

— «Гляди в оба!» — ответил Митрохин.

Была у Митрохина лошадка. Звали ее Волна. Очень озорная была лошадка.

В упряжке не ходила: рвалась в дышле. Под седлом тоже не ходила: закусывала удила.

Вполне была бесполезная лошадка.

Но красивая очень...

Серебристого цвета и с темной гривой, маленькими ушами и умными, чуть косящими глазами.

Она бегала за Митрохиным повсюду, опускала ему

голову на плечо и ждала, не скажет ли он ей чего-нибудь.

И Митрохин говорил:

— Не балуй!

Но не баловать она никак не могла.

Такой у нее был бесполезный характер.

А может быть, чувствовала она, что Митрохин любит ее неизвестно за что. Может быть, за одну красоту.

Летом Волнушка бродила по лесным полянам, щипала траву, а на зиму Митрохин собственноручно заготавливал сено для нее, ставил стожки возле дома. Работа была для Митрохина трудная по старости лет, но он никогда не жаловался.

В тележку он Волну не запрягал, верхом не ездил.

Жена говорила Митрохину:

— Продай бы ты Волнушку, легче бы тебе было...

А Митрохин отмахивался:

— Кому она нужна?

И смеялся.

Однажды Волнушка перемахнула через плетень к соседу. Митрохин даже не успел сказать: «Не балуй!»

А у соседа во дворе в беседке в это время проезжий человек сигарету курил. Увидел Волнушку, сигарету выронил и закричал:

— Откуда мне сие!

И почему он решил, что это ему?

Волнушка испугалась этого крика, перемахнула через изгородь и побежала к Митрохину, спряталась за его спину. Положила ему морду на плечо и ждет, что дальше будет.

А соседский гость оказался городским жокеем с ипподрома. Прибежал он к Митрохину и говорит:

— Продай Волнушку! Ничего не пожалею...

Митрохин был рад, что городскому жокею его Волнушка так понравилась. Но продавать ее никак не хотел.

Две недели ходил за ним жокей, просил, умолял, сердился, даже кричал на Митрохина:

— Погляди на себя! Как тебе одному с такой лошадкой управиться! Продай, и тебе польза будет!

— Как-нибудь, — отвечал Митрохин. — Как-нибудь...

И все же сдался Митрохин. Жена уговорила. Осень подошла, надо было сено заготавливать, а у Митрохина не было, как он говорит, силы времени.

И увел жокей Волнушку в город.

— Первый приз вам пришлю, — сказал он на прощание.

Митрохин ничего не ответил, а деньги за Волнушку завернул в газету и положил на подоконник в избе и строго приказал к ним не прикасаться, забыть, одним словом, про них.

Целую ночь Митрохин не спал. Курил трубочку на крыльце, смотрел на луну. И рассуждал сам с собой, что, пожалуй, он и не прав был, когда сказал, что нет у него силы времени. Теперь, как не стало во дворе Волнушки, ничего не хотелось делать.

И сила времени на него набежала, дразнит, спать не дает. Пошел Митрохин, разбудил жену и сказал:

— И зачем это я, старый дурак, тому жокею поддался? Скажи на милость...

А когда стало рассветать, увидел Митрохин свою Волнушку.

Бежит она по дороге, грива по ветру развеивается. Шея потная, подкова сбилась, а все-таки ушла от жокея.

Домой вернулась.

Митрохин непогасшую трубочку сунул в карман и побежал свой мотоцикл заводить, чтобы тому жокею непронутые деньги в газете поскорее вернуть. Черт с ней, с пользой, пускай красота дома живет.

УДАЧА

Буровую вышку не сразу заметишь в котловине. Она стоит на самом низком месте во всей округе. Сквозь ее решетчатые переплеты просвечивает красноватое от зноя небо.

Горлинки садятся на металлические стропила и удивленно смотрят вниз. Они не привыкли взлетать так высоко. В Темир-Булаке дома одноэтажные, широкие, под черепичной крышей.

Моторист работает в парусиновых рукавицах, чтобы раскаленный на солнце металл не обжигал руки. Горлинки хлопают крыльями и садятся на крышу кабины.

— Смотри ты на них, ничего не бояться! — говорит моторист Николай.

Одинцов вспомнил, как однажды в детстве был с отцом в пустыне. Дорога шла через высокие барханы. Мотор быстро прогревался, приходилось часто останавливаться.

Во время одной из таких остановок он отошел, казалось, всего на два шага в сторону и сразу потерял из виду машину. Вернее, он потерял из виду машину, когда увидел ящерицу. Она сверкала на солнце, как будто была сделана из камня. Ничего не стоило поймать ее, лишь протяни руку. И он протянул руку, но ящерица исчезла.

Потом он опять увидел ее, но уже на другом бархане. Она опять была неподвижна, как камень. Он бросился к ней, но она махнула хвостом и опять исчезла. Тогда ему показалось, что мешает фляга с водой, мешает его движениям, и он отстегнул ее от пояса.

Но ящерицы нигде не было видно. А жара была нестерпимая. Он решил отхлебнуть из фляжки один глоток. Всего один глоток, пока никто не видит... Он отвинтил крышку и поднес к губам фляжку. Но в этот самый миг опять перед ним возникла ящерица.

Она была очень близко. Можно было разглядеть ее выпуклые глаза, длинный хвост, ножки с коготками. Он осторожно поставил фляжку на песок, снял шапку и хотел накрыть ящерицу сверху. Но ее спугнула его тень. Она юркнула в сторону, вернулась...

И опрокинула его фляжку. Он увидел, как фляжка покачнулась, упала набок и из нее выплеснулась вода, ушла в песок. И сама ящерица словно сквозь землю провалилась.

Когда он вернулся к машине, отец спросил:

— Ну что, поймал ящерицу?

В радиаторе белым ключом клокотал кипяток.

Если фляжку, обшитую сукном, окунуть в ведро или в колодец, то вода внутри нее будет холодной до тех пор, пока не высохнет сукно.

Слесарь Гончарецко подгонял и свинчивал трубы на высоких деревянных козлах под навесом.

Работал он неторопливо, поглядывая на буровую вышку и даже разговаривая с ней негромко.

— Ну чего, чего? — говорил он. — Куда торопишься? Сейчас будет готово. А то смотри, как расходилась... Всего ей мало. Куда такую пропасть? Уже больше трехсот метров прошли, а что толку?

Гончаренко и с начальником изыскательской партии разговаривал так же, как с буровой вышкой, не ожидая ответа.

— Вот и вертись тут, как хочешь, — рассуждал Гончаренко. — А ты как думал? Раз — и готово? Нет, погоди... Да, может, мы зря стараемся? Да...

Он рассматривал свежую нарезку на трубах, проводил по серым чугунным бороздкам желтым прожуренным пальцем.

— Это ведь не в первый раз. И на другом участке так же было. Крутили, вертели — и ничего... Премии лишились...

Гончаренко скинул готовую и ловко поднял на козлы новую трубу и стал затягивать ее горловину в тиски.

— Не везет нам, да и только!

И он задумчиво посмотрел на Одинцова.

Одинцов, сдвинув шляпу на затылок, рассматривал чертежи.

На соседнем участке работала Серафима Лавинская.

У нее дела в бригаде шли отлично. И Одинцов любил слушать ее смеющийся голос, когда они шли вдвоем через пески на закате. И уже не мог решить, что для него важнее: найти нефть или не потерять Серафиму?

— Станный ты человек, — говорила она. — Для чего настаивать, когда ничего нет?

Скоро она должна была покинуть эти места и вернуться в город для камеральной обработки результатов разведки.

— Я остаюсь, — говорил Одинцов. — Я не могу вернуться с пустыми руками.

— Берегись, — смеялась Лавинская. — Давно уже замечено, что все неудачники очень упрямы...

Песок скрипнул на зубах Одинцова. Разбитая машина пылила по караванной тропе.

— Что ж, — сказал он. — Посмотрим...

Серафима носила короткую мальчишескую стрижку, и эта прическа ей очень шла.

Они проходили мимо каких-то древних стен, разрушенных временем и занесенных песком. На одном из выступов горбилась верблюжья колючка.

По ночам Одинцову снилась вода. Простая, прохладная, чистая. Она текла откуда-то из темноты, из млечности. А то вдруг закипала белым ключом. И голос отца спрашивал: «Ну что, поймал ящерицу?»

Темир-Булак был новый поселок. Ниточка водопровода тянулась через пески к селению. Воды здесь не было.

— Был, наверное, тут когда-нибудь холодный чистый источник, — сказал Одинцову учитель местной школы Хафизов. — И какой-нибудь поэт назвал его Темир-Булак, Стальной Ключ. Поэты любят метафоры...

Одинцов согласился с Хафизовым, что, может быть, это так и было.

Хафизов рассказывал по солнцепеку в теплом ватном халате. И уверял, что это лучшая защита от жары. Одинцов изнывал от зноя и успевал за день десять раз наполнить свою д ляжку водой из цистерны.

— Потом, — рассуждал Хафизов, — какая-то подземная скала закрыла источник. Наверное, это случилось во время землетрясения. И на месте, где был Темир-Булак, выросла верблюжья колючка.

Это было похоже на правду. Бур уперся в твердую скальную породу. И Одинцов решил вызвать взрывников. Это была его последняя ставка.

На площадке появились тихие люди в белых шлемах. Они растягивали шнуры, раскладывали и пересчитывали круглые коробки. Переговаривались жестиками...

Третий взрыв расколол скалу.

Взрывники сняли каски и заговорили громкими голосами. Бригадир взрывников оказался молодым человеком.

— Все, ребята! Здорово живешь, — сказал он.

Над буровой вышкой образовалось какое-то странное облачко, похожее на пар.

— Что-то наша буровая стала похожа на самовар, — сказал Гончаренко, выглядывая из-за насыпи. — Пойти посмотреть...

Моторист выглянул вслед за ним из окопчика и глазам своим не поверил.

Из кратера на месте буровой вышки бил фонтан бурой воды.

— Нефть! — заорал он.

Одинцов стоял на краю кратера и смотрел на буровую вышку.

У него под ногами была удача. Ящерица опять сверкнула в песках.

В Темир-Булаке он нашел темир-булак.

Это был тот самый источник, закрытый скалой, может быть, много сотен лет назад, во время землетрясения, о котором помнили только разрушенные стены древнего города...

Ключ кипящей воды был черным, бурым, желтым...

— Дождались, — сказал Гончаренко. — Не зря, стало быть, кипятились.

Хафизов принес школьный термометр, опустил его в источник, взглянул на шкалу и сказал:

— Шестьдесят градусов выше нуля!

Этот минеральный источник, когда сошла с него первая артезианская грязь и он стал очищаться, поблескивая как сталь, назвали Темир-Булаком.

Одинцов не знал, горевать ему или радоваться, если из скважины, которую он долбил с таким упорством, ударила не черная нефть, а вырвался белый ключ, если вместо того, чего здесь никогда не было, он нашел то, что здесь было когда-то... Ящерица, такая же крупная, какой она казалась в детстве, мелькнула на сером камне. «К счастью», — подумал Одинцов.

Вечером пришла поздравительная телеграмма от Серафимы Лавинской: «С горячим приветом!..»

БОЛЬШАЯ ДИСТАНЦИЯ

Анохин вышел на беговую дорожку.

На стадионе зрителей не было. Пустые трибуны, пустые скамейки, пустые репортерские кабины.

Трэнер Лакизо сидел под тентом на складном стуле. Что-то такое он понимал в деле, этот лысый старик в кедах, чего объяснить себе Анохин не мог. Когда на соревнованиях выступали его ученики, Лакизо так горячился, что ему приходилось менять рубашку. И если результаты его ученика были особенно смелыми, он говорил с волнением:

— Барахло!

И все знали, что это слово дороже всех других похвал.

Через несколько лет портреты Анохина и его тренера Лакизо обойдут все спортивные газеты и журналы.

Лакизо был уверен, что судьба любит шутить с теми, кто не слушает ее. Анохин работал в часовой мастерской. Лакизо увидел его через стекло витрины. Молодой человек чинил старые часы.

— Да вас разнесет на части ваше ремесло! — сказал ему Лакизо.

— Почему же, — ответил ему Анохин, когда они разговорились. — Я по вечерам от мастерской до дома хожу пешком. Иногда бегаю, — признался он.

Анохин и сам себе не мог объяснить, почему у него всегда захватывает дух самый вид открытого пространства. Ведь это как будто не вязалось с его ремеслом.

— В этом и состоит тайна искусства, когда дух захватывает, — сказал Лакизо.

Лакизо сразу понял, что Анохин — прирожденный бегун на большие дистанции. А на стадион не пришел

бы сам никогда. Ни за что не пришел бы, если бы Лакизо не привел его на беговую дорожку.

Старый тренер считал также, что своего призвания человек может избежать с большой легкостью. Там поленился, там отстал, там забежал вперед — и не догонишь!.. Свою задачу он видел в том, чтобы подстроить встречу настоящего спортсмена с его настоящим призванием. И почти никогда не ошибался в выборе.

Анохин зашнуровал ботинки и увидел, как в центре поля прыгун стрижет ногами воздух над планкой. А поодаль стоял бронзовый юноша, опершись на копье. Лето сверкало в облаках и на траве стадиона.

Лакизо постучал ногтем о стекло секундомера. И Анохин, выйдя на старт, почувствовал, что взгляд мастера уперся ему в спину.

Однажды Анохин в раздевалке услышал разговор Лакизо с Покровским. Они стояли довольно далеко, но у Анохина был очень хороший слух.

— Ну, как ваш призер? — спросил Сергей Дмитриевич.

Лакизо пощелкал пальцами в воздухе, подбирая нужные слова, и ответил:

— Учится ходить.

— Я думаю, из него выйдет золотой бегун?

— Не знаю, — сказал Лакизо, — может быть, он никаким бегуном не станет.

Старик выглядел усталым.

— Почему? Я слышал, что это талант...

— Мало! — сказал Лакизо. — Одного таланта мало. Сколько я видел талантливых спортсменов, бегунов, которые шли в болельщики. Хотя и это тоже неплохо. Если есть настоящие бегуны, должны быть и болельщики.

— Но я мельком видел его на дорожке. У него отличные данные.

Анохин прислушивался к этому разговору, боясь пошевелиться...

— У него все есть, — согласился Лакизо, — кроме одного...

Чем больше надежд возлагал старик на своего ученика, тем насмешливее он говорил о нем.

— Чего же ему не хватает? — спросил Покровский.

— Он не чувствует необходимости большой дистанции.

Любимая тема Лакизо! Необходимость большой дистанции... Это чувство было у того марафонского бегуна, который принес Мильтиаду весть о победе его войска. Он должен был крикнуть: «Победа!» — и умереть... Вот что такое чувство необходимости большой дистанции, если говорить не о спорте, а о победе.

Старт! И сразу все пришло в движение. Чаша стадиона медленно поворачивалась против часовой стрелки.

Анохин старался дышать ровно, как его учил Лакизо, — берег силы.

Голубь взлетел над башней северной трибуны. Казалось, что беговая дорожка превратилась в секундомерный диск в руках Лакизо.

Если Анохин бежал медленнее, время стучало маятниками в висках. Если же он набирал скорость, оно становилось неслышным.

Однажды Анохин рассматривал в спортивном журнале фотографию призера Олимпийских игр. Это был знаменитый спортсмен. И вдруг перед ним возник Лакизо. Он как бы угадал мысль своего ученика и сказал:

— Ты не его, а себя догоняй! Это и есть самая большая дистанция.

Анохин услышал, как ударилось о землю ядро, пущенное рукой метателя, как кто-то выкрикивает новую высоту для прыгуна, как посвистывают судейские свистельки.

Он не думал о человеке, который сидит сейчас под тентом на складном стуле с секундомером в руках, но по-прежнему чувствовал, как взгляд Лакизо упирается ему в спину. Значит, он бежит медленнее, чем надо...

Покровский как-то сказал:

— Главное в спортивных успехах — это тренер. Нет ли? — И он выжидательно посмотрел на Лакизо.

— Нет, — ответил Лакизо. — Главное, это чувство большой дистанции...

Анохин думал, что хорошо бы теперь прилечь где-нибудь под деревом с книжкой в руках. Ведь столько хороших книг на свете. И сколько еще не прочитано! Он думал о себе в прошедшем времени: не читал, не понимал, не чувствовал... Не чувствовал необходимости большой дистанции.

К нему постепенно возвращалось дыхание. И опять стали слышны маятники в висках. Анохин перешел на шаг.

Однажды Лакизо привел Анохина на стадион в неурочный час.

По дорожке бежал тот самый олимпийский призер, портрет которого он видел в журнале. Анохин его сразу узнал. Ну, конечно, это был он. Анохин забыл о Лакизо. Спорт есть спорт. В одиночку еще никто не становился чемпионом.

Анохин впился руками в поручни трибуны и не отрываясь смотрел на олимпийца, не пропуская ни одного его движения. Особенно поразило его то, что олимпиец не боялся тратить время на какие-то эффектные жесты во время бега.

Он вспомнил, что Лакизо сказал однажды, что настоящий фехтовальщик не будет делать балетных па во время боя...

Но олимпиец был настоящий бегун. И если он позволял себе отступления, то только потому, что у него был огромный запас сил и уверенность в себе была огромная.

И вдруг Анохин почувствовал, что олимпиец ничуть не лучше, чем он сам, Анохин. То есть он почувствовал, что он, Анохин, ничуть не хуже олимпийца...

Он оглянулся на Лакизо. И увидел, что тот изучает бег олимпийца по тем же самым часам, по которым отмечал дистанцию своих учеников.

Анохин перешел на шаг.

И увидел, как Лакизо меняет рубашку. Это был хороший признак. Лакизо держал перед глазами секундомер, потом закрепил стрелку и спрятал часы в карман.

— Ну, как? — спросил Анохин, переводя дыхание.

— Барахло, — ответил Лакизо и бережно накинул на плечи Анохина купальный халат.

УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ

Однажды в конце учебного года заведующий отделом народного образования Николай Константинович Куш пригласил меня к себе и сказал:

— Мне некогда!

Он достал из ящика стола запечатанный конверт и предложил мне поехать в одну из отдаленных школ на экзамен. Нужно было собрать тетради учеников, после того как они выполнят свою письменную работу, и привезти эти тетради в методический центр.

— Там учитель новый, — пояснил Куш.

При этом он предупредил, что в конвертах два варианта — только условия задачи.

— А ответы? — спросил я.

— Ответов не будет, — ответил Куш.

В школе я без труда разыскал учителя математики.

Это был молодой человек в спортивном костюме. Звали его Олег Петрович. Он чистил во дворе свой красный мотоцикл.

Я еще с улицы услышал выхлопы мощного двигателя.

• — Барахлит, — сказал он, когда мы познакомились, указывая на мотоцикл.

Я посочувствовал ему.

— Вы знакомы с Платоновым? — спросил он, вытирая паклей никелированные дуги.

— Нет, — ответил я. — Кто это?

— Гений! — сказал Олег Петрович. — Он до меня здесь работал. Его все знают... Правда, он теперь на пенсии.

Олег Петрович улыбнулся и добавил:

— Нет такой задачи, которую он не мог бы решить сразу!

Когда в учительской был вскрыт конверт и прочитаны условия задачи, Олег Петрович спросил:

— А ответы?

— Ответов нет, — сказал я как можно мягче.

— Тогда я сам, — пробормотал Олег Петрович и присел к столу.

Дежурный учитель подал ему чистую бумагу, перо и вышел в коридор. Я вышел вслед за ним, чтобы не мешать Олегу Петровичу.

Дежурный учитель был немолодой человек.

— Вы давно работаете в школе? — спросил он меня.

— Не так давно, — ответил я.

Он усмехнулся.

— Я видел всякое на своем веку, — продолжал он, — я до сих пор волнуясь перед экзаменом больше своих учеников. Один философ сказал какому-то учителю: «Пришли мне твоего ученика, я посмотрю, каков ты...»

Потом он сказал, что Николай Константинович Куш за свой высокий рост прозывался между товарищами по университету Гиндукушем...

Часы пробили девять.

Олег Петрович надел поверх своего спортивного свитера светлый пиджак, и мы с ним вошли в класс.

Ученики встали за партами приветливо и, как мне показалось, непринужденно.

Олег Петрович кивнул, и ученики заняли свои места. Экзамен начался.

— Условия задачи! — сказал Олег Петрович и подошел к доске.

Конверт из гороно лежал на учительском столе.

— Поехали! — тихонечко сказал один из учеников, но Олег Петрович не обратил на это внимания.

Окончив приготовления к письменной работе, проверив, все ли в порядке в классе, Олег Петрович присел к столу. У него было огорченное лицо. Он старался не смотреть в мою сторону.

В окно мне был виден школьный двор, залитый солнцем, и красный мотоцикл, ожидающий у крыльца.

Наконец Олег Петрович сложил свои листки, спрятал их в нагрудный карман пиджака и поглядел на учеников. Но они были очень заняты и не замечали его волнения. Кто писал, кто зачеркивал — дело шло вперед.

Карандаш в руке Олега Петровича несколько раз перевернулся, то грифелем вниз, то грифелем вверх, и сломался.

Каждый, кто работал в школе, знает, что есть особый приступ учительского волнения, когда вдруг простейшая задача покажется тайной, или забудется крупная дата, или возникнет зияющая ошибка в родном слове...

По-видимому, Олег Петрович впервые испытывал такой приступ и чувствовал себя беспомощным. Он очень волновался, и на него нельзя было смотреть без сострадания. Во всяком случае чувствовалось, что помощь со стороны, которая бывает необходима в такие минуты, он принял бы не от всякого...

Он решительно подошел ко мне и сказал, что ему необходимо отлучиться. Ненадолго!

Сидение за учительским столом во время экзаменов и контрольных работ тем особенно опасно, что ученики, как это я заметил, как бы сверяют решение задачи с выражением лица учителя. Одним неверным взглядом или движением можно незаметно для себя сбить ученика с верной дороги. Зато вовремя сказанные слова «ничего — получится» успокаивают целый класс.

Во дворе раздался треск выхлопной трубы. Я выглянул в окно и увидел, как Олег Петрович на своем красном мотоцикле выехал из школьных ворот. Видимо,

эти звуки были хорошо известны ученикам, потому что многие из них посмотрели на меня с удивлением: «Куда это отправился Олег Петрович?»

Прошло довольно много времени. Я видел, как один из учеников за первой партой не торопясь переписывает свое решение набело. Другой ученик у окна, очень похожий на Олега Петровича, склонившегося над рулем своего мотоцикла, пристально смотрит вперед. Девочка в круглых очках что-то пишет без передышки, не отрывая взгляда от тетради...

Во дворе раздался треск мотоцикла. И вскоре в класс вернулся Олег Петрович. Меня поразило его разгоряченное лицо. Он жестом попросил учеников не отвлекаться от работы.

— Как вам нравится погода? — спросил он, когда мы с ним отошли к окну. — На улице жара, настоящее лето!

Олег Петрович вытер платком лоб. Потом достал из кармана листок и написал на нем: «Вы не спутали варианты?» Я отрицательно покачал головой.

Ученики продолжали работу. Олег Петрович, видимо, боялся заглянуть в их тетради, как бывает иногда страшно посмотреть вдруг с какого-нибудь балкона на освещенную дорогу.

Трудный случай!

— Да, кстати, где сейчас Платонов? — спросил я и пожалел об этом: «Вдруг обидится?»

Но Олег Петрович не обиделся, а простодушно ответил:

— Не застал его дома... Говорят, его Куш к себе вызвал.

Между тем время экзамена истекло. Ученики зашумели, складывая тетради. В коридоре звонил звонок.

А через несколько дней Николай Константинович Куш снова пригласил меня к себе в кабинет.

— Мы с Платоновым вместе проверили все работы, — сказал он. — Подумайте, какой учитель! Как он готовит своих учеников! Талант! Настоящий талант!

Все задачи были решены учениками Олега Петровича правильно, простейшим и наиболее целесообразным методом.

Какой учитель не мечтал об этом!

СЛЕДОПЫТ

Аскер вел свой вездеход со скоростью восемьдесят километров в час.

И впереди, и позади, и по бокам шли машины с такой же скоростью.

Открытое прекрасное шоссе!

И навстречу, по смежной полосе, неслись машины, казалось, с удвоенной быстротой. Разорванное пространство хлопало за ними как полотно.

Отличное шоссе!

У Аскера захватывало дух от тесноты ряда, от скорости, а главное — от бесконечной ленты шоссе, которая разматывалась под колесами с такой легкостью, что сам вездеход как будто терял разум и летел по склонам то вверх, то вниз, как стрекоза.

Почти целый год Аскер не выезжал из заповедника и вместе с профессором Веденевым колесил на своем вездеходе по горам и далеким кордонам.

Аскер был опытным шофером, незаменимым человеком в заповеднике, мог провести машину по козьей тропе. Веденев называл его следопытом.

Они вместе исследовали множество пещер. Веденев

был спелеологом. Изучал таинственную природу землетрясений, часто бывал на сейсмической станции.

Писал книгу о потухших и действующих вулканах. Для этой книги он сфотографировал и Аскера у входа в Дельскую пещеру.

— Где ты был, следопыт? — спрашивал его Веденеев, когда Аскер возвращался с гор.

Аскер редко покидал заповедник. Здесь был его дом, его работа, и он не искал ничего лучшего.

А между тем вокруг все изменилось. В степи на славу поработали гидрологи, геодезисты, автодорожники. И ландшафт стал иным.

Появилась автострада, соединявшая промыслы с окружающими селеньями.

Когда Веденеев уезжал в командировку, Аскер был болен и не мог проводить его до аэродрома в Янги-Хаяте. Зато теперь он поехал встречать профессора.

Веденеев побывал в Африке, ездил на Балканы, на Камчатку, в Японию.

Давно не видались. И Аскер уже представлял себе, как Веденеев спросит его:

— Где ты был, следопыт?

Аскер не боялся пещер и проникал в самые глухие, закрытые залы подземных галерей.

Теперь он катил, что называется, с ветерком по широкому шоссе. Отличная была поездка. Самолет приходит в шесть часов, и есть еще много времени в запасе!

Аскер прислушивался к ровному гудению мотора и чувствовал податливую силу своей машины. Привычки к большим скоростям у него не было. И он внимательно следил за впереди идущими машинами. Гораздо внимательнее, чем за указателями на дороге.

Он любил технику и жалел ее. Чистил свою машину, как призового коня. Когда пыль покрывала ветровое стекло, ему казалось, что его самого заносит песком.

В окно влетела стрекоза и шлепнулась на сиденье. Аскер покосился на нее и подумал, что это добрый знак. Если есть стрекоза, значит, есть поблизости и вода. Может быть, стрекоза прилетела с берегов Алтын-Сая.

У обочины был пост ГАИ. Аскер его очень хорошо запомнил. У окна стоял дежурный и держался рукой за щеку. Наверное, у него болел зуб. Аскеру стало жаль дежурного, у которого в такой прекрасный день разболелся зуб.

Аскер не сомневался в том, что он едет как следует. Только не узнавал местности. Там, где была ровная степь, стояли какие-то строения, а где были глиняные домики, там ничего не осталось...

Впрочем, в пустыне легко ошибиться и принять знакомое за незнакомое, даже если ты следопыт. Особенно если сидишь за рулем, а машина едет со скоростью сто километров в час!

Аскер был уверен, что все дороги ведут в Янги-Хаят. В других городах он никогда не бывал. Знал, конечно, что есть и другие большие города. Веденеев много ездил по свету, кое-что рассказывал. Смотрел Аскер и передачу «Клуб кинопутешествий» по телевизору. Но все это было где-то очень далеко.

А здесь другое дело. Если появилась в степи такая прекрасная дорога, то она, конечно, ведет в Янги-Хаят.

Однако нигде не было видно ни элеватора, ни железнодорожной станции.

Аскер стал беспокоиться. Стрекоза давно улетела в открытое окно, а Алтын-Сая он так и не увидел.

Вездеход шел ровно, уверенно, как будто больше повиновался самой дороге, чем Аскеру.

Было уже пять часов. День клонился к вечеру. По времени он уже давно должен был приехать в город. Аскер попробовал заговорить с шофером самосвала, который шел рядом. Но шофер посмотрел на него из глу-

бины своей кабины и ничего не ответил, как будто даже не понял, о чем его спрашивали.

Потом Аскер попытался выяснить, куда ведет эта прекрасная дорога, у пассажира догонявшей его легкой машины. И тот прокричал ему в ответ, что это окружная дорога и надо сворачивать.

Все это показалось Аскеру странным. На обочинах стояли знаки, запрещающие остановку. Кроме того, он попал на развязку и выкатился вообще неизвестно куда, на какую-то ветку, которая ничем не отличалась от самого шоссе.

Через некоторое время он в потоке машин опять выбрался на шоссе и помчался, как ему показалось, в обратном направлении.

Если человек в пустыне кружит по собственным следам, это несчастье. А если дорога кружит? Это уже дело автоинспекции.

Стрекоза опять влетела в окно. Та же самая или другая? Неизвестно...

Аскер и сам не знал, куда он едет вместе со всеми этими машинами со скоростью сто десять километров в час!

И вдруг он опять увидел пост ГАИ и дежурного, который все так же держал руку у щеки.

Тогда он решил остановиться. Благо, тут была стоянка.

Аскер выключил мотор, подошел к дежурному и пожелал ему доброго здоровья. Дежурный печально посмотрел на него, поблагодарил за добрые пожелания, а потом сказал, что это окружная дорога, а не ипподром, что машина — не призовой конь, чтобы ее гонять по кругу и что если он на своем вездеходе в третий раз появится здесь, то пусть пеняет на себя.

Оказалось, что Аскер давно проехал поворот на Янги-Хаят и теперь находился вблизи Иски-Базара. Больше того, он уже два раза проехал поворот, и те-

перь ему не оставалось ничего другого, как' попытать счастья в третий раз.

Над дорогой летел вертолет ГАИ, похожий на стрекозу.

Только в восьмом часу вечера Аскер развернул свой вездеход у аэровокзала Янги-Хаята.

Веденеев сидел в кресле в зале ожидания. Он поднялся навстречу Аскеру и сказал:

— Где ты был, следопыт?

В ТЕ ДНИ

1

Мы разбирали трубы на разъезде. На путях стояли платформы. Шел 1942 год. По мобилизации на разъезде работали школьники. Каждому полагался рабочий паек хлеба за каждый день труда.

Трубы были литые, тяжелые, ржавые. Нужно было по двое поднимать их с земли и переносить на платформу. Весь этот металл должен был пойти в переплавку. Стояла жаркая осень.

Я работал вместе с товарищем Савари, Жаном Савари, Иваном Жоресовичем Савари, нашим учителем французского языка. У него было красное лицо и седая пышная шевелюра.

Иногда он выпрямлялся так, как будто говорил речь перед народом, хотя не произносил ни слова. Он поднимал трубы таким жестом, который мог бы убедить парламент. И сбрасывал их с плеча так, как если бы хотел показать миру, как это делается.

Я не встречал никогда такого красноречивого человека. Вся его работа была тацитовской, демосфенов-

ской, чеканной и, я бы сказал, исторической. Париж был оккупирован немцами, фашисты бомбили Москву, и мы разбирали трубы на глухом разъезде, в Азии. Это было в XX веке.

Мы вынесли на платформы, наверное, уже с полсотни труб. Я невольно подражал парламентской поступи Савари и его красноречивым жестам. В небе было жаркое солнце войны.

Вдруг Савари посмотрел на меня, пошевелил губами, как будто усталость отвлекла его от главной мысли, поморщился, припоминая что-то, опустил глаза, потом вскинул голову с седой шевелюрой и сказал:

— Перекур!

Мы сбросили еще одну ржавеющую с нарезками на концах погнутую трубу, предназначавшуюся, наверное, для городского водопровода, а теперь годную лишь для военной переплавки, и сели в тени высокого каштана.

Савари достал пачку папирос «Борцы», раскрыл ее крепким продыmlенным ногтем, размял табак в рисовой бумаге, сунул папиросу в рот и стал искать спички. Они оказались в нагрудном кармане его защитной блузы. Это были спички «Гигант» с красными головками. Они зажигались о любую поверхность.

Савари чиркнул спичкой о ствол каштана и закурил. Речь его, обращенная к невидимым слушателям, продолжалась. Он совершенно не замечал моего присутствия. И даже произнес гневную фразу по-французски: «Когда события, постоянно изменяющиеся, ставят перед нами вопрос, справедливость, всегда неизменная, требует, чтобы мы отвечали на него...»

Тогда мне казалось, что Савари был стар. Но ему было не больше сорока лет. Он рассказывал нам о Парижской коммуне, о Викторе Гюго. Мы знали, что он получил три ранения в Испании, в Интернациональной бригаде, и теперь, как он говорил, годился только на

то, чтобы быть школьным учителем. Его любимой книгой был роман Гюго «Девяносто третий год».

— Пусть будет стыдно тем, кто думает, что, с тех пор как Тьер расстрелял коммунаров, — говорил он, — во Франции остались только шарлатаны и прохвосты.

К нам подошел военрук Ромашов с талонами. Он знал всю бригаду в лицо, но всегда переспрашивал фамилию:

— Савари?

— Савари.

И Ромашов вручил ему талон на хлеб. Но не ушел, а покосился на папиросную коробку, которая лежала на траве вместе со спичками у ног Савари.

— «Борцы»?

— «Борцы».

— Довоенная, — протянул Ромашов, когда Савари предложил ему закурить, и взял одну папиросу.

— Подарок от одного некурящего друга, — сказал Савари.

На папиросной коробке были изображены борцы, схватившиеся в поединке.

Платформа тронулась, загудел паровоз, завывала сирена, школьники под насыпью провожали состав криками, махали руками.

Ромашов сделал какую-то пометку в своем списке и вручил мне такой же талон, какой он вручил и Савари. Восемьсот граммов хлеба.

— Рот-фронт! — сказал Ромашов, взял под козырек и удалился.

К платформе подтягивался новый состав, и снова ожил наш муравейник. Всего на путях в ту осень работало несколько тысяч школьников со своими учителями.

Перекур был окончен. Савари убрал коробочку с борцами в нагрудный карман, бросил окурочок в пыль и поднялся с травы под каштаном.

— Петен ответит за позор Франции, — сказал Сава-

ри, продолжая свою речь и не обращаясь ко мне. — За каждый город, оданный бошам без боя. Париж будет сражаться, несмотря на капитуляцию. Ничто не капитулирует, кроме несправедливости!

И мы направились к новым платформам, которые нужно было до конца рабочего дня нагрузить трубами для переплавки. Труб было великое множество, их привозили со всего города на машинах, в телегах, в фургонах. Войне нужен металл — это хлеб войны. И мы разгребали мусор, вытаскивали железо из-под кусков глины и деревяшек.

У самой платформы мы встретили Елену Николаевну, нашего завуча. У нее были каштановые волосы и рыжая шляпка, которая очень шла к ее серым глазам.

— Вот вам еще пачка папирос, — сказала она, обращаясь к Савари. — Я нашла ее у себя в комодке.

Савари поблагодарил ее, принял подарок и поцеловал руку Елены Николаевны. Я отошел в сторонку, выбирая трубу полегче. Вскоре ко мне присоединился и Савари. Он был взволнованным, как на пожаре. И лицо его горело вдохновением.

— Запомни мои слова, мальчик, — сказал он, обращаясь ко мне. — От этих труб рухнут стены Иерихона! И мы подняли с земли ржавое железо.

2

Рядом с горячекотельным цехом помещался отсек для сверлильных станков. Здесь готовились колосники перед сборкой в цельные решетки на паровозах.

Я прочитал медную табличку на одном из станков: «Варшава, 1897 г.»

Мастер, который указывал рабочее место каждому из пришедших на завод по комсомольской мобилизации, сказал:

— Станок исправный! Смотри! Ничего, что старый, как трехлинейная винтовка. В хороших руках тоже оружие...

И он показал мне, как затягиваются тиски и опускается сверло. После этого он ушел к другим станкам, а я остался один на один со стальной громадиной.

Пришлось подставить ящик под ноги, чтобы достать до всех механизмов управления. И станок безукоризненно повиновался не мне, а своему механизму.

Когда я затянул тиски и включил мотор, сверло покорно опустилось, надавливая на металл. В чугуне образовалась сначала лунка, потом углубление, и серая пыль посыпалась на колосник.

День был горячий. В открытые двери лилось сухое солнце.

Надо было приготовить за день пятьдесят колосников. Такой план дал мне мастер Клыков. И не мне одному, а всем сразу, каждому — по пятьдесят колосников.

Двадцать — тридцать штук до обеда и столько же или чуть меньше — после перерыва.

— С утра колосники будут полегче, — сказал мастер, — а к вечеру потяжелее.

Все колосники, сваленные у станка, были одинаковые, и я не сразу понял, что он хотел сказать.

Во всяком случае, я решил не тратить времени даром, не отвлекаться, а заготовить впрок побольше готовых плиток.

Колосник — это тяжелая чугунная решетчатая плитка с выступами для крепления. На ней горит уголь в топке паровоза, а пыль и зола осыпаются через решетку вниз.

Пятьдесят таких плиток нужно было поднять на ста-

нок, укрепить в тисках и просверлить несколько отверстий равного диаметра.

На подъездных путях стояли друг за другом огромные глухие локомотивы, ожидающие ремонта. Их по одному вкатывали в цех. На боках паровозов можно было прочесть всю географию войны. На одном из них было нацарапано: «Тихвин», на другом — «Белосток». Страшные шрамы и пробоины зияли в обшивке.

Это были фронтные локомотивы, рядовые великих сражений, идущие на поправку через лабиринт индустрии, чтобы вернуться на фронт.

Тыловые школьники влезали в котлы с отбойными молотками, стояли у станков, получали план-задание от мастера, и стальные машины повиновались своим механизмам.

Возле цеха я увидел вагонетку.

Прекрасная такая вагонетка, на колесиках. Я даже удивился, что никто как будто ее не замечает. В цехе много было разговоров о рационализации, а между тем вагонетка стояла рядом...

Я погрузил в нее десять или двенадцать колосников и мигом доставил их прямо к своему станку. И вагонетку рядом расположил: еще понадобится.

Работа пошла живее.

И вдруг я услышал, что за моей спиной собирается толпа. И что-то говорят обо мне сердито.

Когда я обернулся, то увидел начальника цеха и мастера Клыкова.

— Что это значит? — спросил начальник цеха.

— Рационализация — ответил я.

— Рационализация, — закричал какой-то огромного роста рабочий в спецовке. — У нас из-за тебя вся работа остановилась.

Оказалось, что это была вагонетка из инструменталь-

ного цеха. Единственная! И оставили ее на одну минуту...

Сама история с вагонеткой быстро забылась. Но меня стали называть рационализатором.

Клыков вскоре где-то раздобыл новенькую вагонетку для нашего цеха. Однако она исчезла, как только ее оставили без присмотра на минутку. И Клыков с большим трудом разыскал ее уже в литейном цехе.

Там тоже был свой рационализатор...

Мастер Клыков требовал гарнизонной чистоты в цехе. В углу стоял баллон с водой. А перед воротами цвели цветы. У входа в мастерскую росла сирень.

Клыков сказал, что будет строго взыскивать за каждую поломку и брошенный инструмент. И выдал нам каждому талон на обед в заводской столовой.

Первый колосник был самым неловким. Пришлось с ним повозиться... Он выскользнул из рук, поворачивался углом, но я затянул тиски до отказа, и он прилип к станине так, что сверло легко прошло именно там, где были поставлены мелом белые точки.

Когда я в первый раз опустил резец на металл, откуда-то сверху, из скрытого бака, обтекая сверло, полилась вода. Это было так неожиданно, что я выключил мотор и побежал к мастеру Клыкову.

— Что случилось? — спросил он.

— Станок протекает, — сказал я.

Клыков махнул рукой:

— Не обращай внимания. Это так и должно быть.

И объяснил, что даже сталь устает, накаляется, и нужна обтекающая ее вода, чтобы она не перегрелась и не сломилась.

Сталь и вода, твердость и податливость — я впервые видел эту мудрую механику резьбы.

Второй колосник был гораздо легче. Он сразу стал на место, и тиски прилипли к его бокам. Сверло прошло через металл с легким шорохом и скрипом. Влага сочилась через свежее отверстие. Работа получалась, шла, мотор гудел...

За вторым колосником последовал третий, четвертый, шестой, седьмой. От напряжения слегка подрагивали руки. Во рту пересыхало от жары и пыли. На минуту я выключил мотор и пошел к баку напиться.

Кружка на стальной цепочке гремела, но я не слышал этого, потому что вся мастерская была наполнена гулом моторов.

Когда я выпил две кружки воды, мне показалось, что на моем лбу выступило сразу семь потов. Влага застилала глаза, и я вытирал ее платком, и платок сразу потемнел от влаги и пыли. Даже ржавчина на нем откуда-то взялась.

С этого и начались неполадки. Когда я вернулся к станку, мне показалось, что его мотор звучит как-то иначе, гулко и надсадно. Как только я включил машину и опустил сверло на чугун, она задрожала и зарычала недовольно. Я увидел, что и колосник в тисках дрожит от негодования....

Следующий колосник, несмотря на то, что я, как мне казалось, захватил его накрепко, не то что дрожал, а раскачивался так, что я долго не решался опустить сверло. С большим трудом, помогая себе коленями, я подтянул его повыше и снова завернул тиски. Теперь колосник под сверлом вибрировал, а вместе с ним вибрировал и весь станок. И я не мог понять, отчего это происходит.

Все было в порядке. И станок, и колосник на месте. Сверло опускается как прежде, но белые точки ус-

кользают от меня. Вибрация передается рукам, всему телу, и унять эту дрожь нет никакой возможности.

Я подумал, что вибрация исчезнет, если резко и решительно опустить сверло на металл. Это была моя ошибка.

Сверло покорно опустилось и смело врезалось в металл. Вот оно прошло через первую белую точку. Но вибрация не угасала, а усиливалась. Сверло вгрызлось в чугун отчаянно, стараясь удержать колосник в неподвижности, но колосник раскачивался. И сверло сломалось.

За спиной у меня стоял Клыков. Он смотрел на меня сердито, сжав губы.

— Сломал? — спросил он.

— Сломал, — ответил я.

— Работа взыскивает, — сказал Клыков, вздохнул и достал из инструментального ящика новое сверло.

Вода обтекала обломок витой стали.

— Закрой глаза, — сказал Клыков. — И вытяни руки перед собой.

Я закрыл глаза и увидел красные пятна и витые линии. И почувствовал, что руки мои плавают в воздухе, как во сне.

— Вибрация, — услышал я голос Клыкова. — Открой глаза.

Я открыл глаза и увидел, что руки мои, одна выше другой, дрожали неестественно и странно.

Клыков наладил сверло, отбросил обломок витой стали, заменил его новым сверлом. Потом он затянул тиски на четыре дополнительных оборота, хотя мне казалось, что я уже завернул гайки до отказа. Колосник замер, вибрация исчезла, и сверло, разбрызгивая воду, погрузилось в металл.

А над заводом уже плыл гудок, возвещающая окончание первой смены. И голос гудка показался мне вибрирующим — столько в нем было стальной усталости.

Война доставала нас всюду. Она обступала наше отрочество со всех сторон. Мы привыкали к ней, как привыкают к повседневности. Завтра мы должны были стать ее солдатами.

Многих уже не было с нами. Вася Зарев пришел проститься в новеньком обмундировании, которое топорщилось на плечах. И больше мы его никогда не видели.

Он погиб во время наступления на Южном фронте. И его единственное письмо пришло позже известия о его гибели. А он был всего на два года старше нас.

Мы играли с ним в морской бой, расчерчивая клеточки школьной тетради, и никто из нас тогда еще не видел настоящего моря. Он увидел его...

Гай, которого мы называли Виргилием за то, что он прочел всего Данте, был на год младше Зарева и погиб, не доехав до фронта, во время военных учений.

Когда мы стояли перед его могилой, кто-то сказал, что памятник смотрит глазами Гая: исподлобья... Девочки закрывали лица цветами.

Наши игры были пророческими. Был среди нас один мальчик, странный человек. Он знал множество стихов на память. И повторял отдельные строки так, что они всякий раз звучали по-новому. «Европа мне напомнила гранату со снятым неожиданно кольцом».

Он и сам писал стихи. Одну его балладу мы знали наизусть:

Играли мальчики в солдат,
Глядели исподлобья.
И сохранили этот взгляд
Солдатские надгробья.

Запомни наши имена,
Мы были дети века

В те дни, когда была война
Во имя человека.

Мы были школьные дружки,
Душа искала правды.
И девочки плели венки
На берегах Непрядвы.

Заря первоначальных лет
Нам озаряла лица.
Свети же, незакатный свет,
Лети, ночная птица!

Что есть добро, то есть добро, —
Единая награда.
И сводки Совинформбюро
Звучали как баллада...

На завод приходили порожняком длинные составы. Их пригоняли ночью. Они шли с Запада. Меня особенно поразила нацарапанная на одном вагоне надпись: «Станция Война». Все эти составы должны были вернуться на ту же станцию.

Вагоны были наглухо закрыты, хотя бока и крыши зияли пробоинами от осколков оружейных снарядов и авиационных бомб. Если колеса были в сохранности, их гнали к нам, на переоборудование. «Европа мне напомнила гранату со снятым неожиданно кольцом...»

Сергей Муратов вырос в военной семье. Толстые стекла его роговых очков отделяли его от военной службы в будущем. И он считал это какой-то своей виной... Вины никакой в этом у него не было.

С ним всегда происходило нечто такое, что касалось каждого из нас. Он мог бы стать поэтом, как мог бы стать и историком, потому что всегда слышал голос времени. Во всяком случае, его участь была неотделима от участи его поколения.

В пустых вагонах, в которые мы проникали через пробоины, мы находили обрывки писем, фотографии, га-

зеты. Он собирал эти бумаги, уверяя нас, что со временем они станут историческими документами.

— Чаще всего, — говорил он, — историческим документом становится именно то, чему современники не придают значения...

В обрывке какого-то письма говорилось о Заячьей Горке. О горке, на которой во время половодья собираются зайцы. Совсем простое, сельское, невоенное письмо. Только вскользь упоминалось Варшавское шоссе и какая-то деревня Фомино. Писал неизвестный солдат, имени которого разобрать было невозможно. Письмо, по-видимому, было неотправленным...

И адреса на нем тоже не было. Обрывок листа из ученической тетради. Письмо, написанное химическим карандашом. Были там такие строки: «Как там поживают мальчишки с нашей улицы? Живы ли они?» Этот вопрос не показался нам странным. Многие из нас были под бомбежками, кочевали по вокзалам в дни эвакуации, голодали, холодали на открытых платформах, жили где попало... Женька Зданевич говорил, что под мостом спать плохо, потому что мосты бомбят по несколько раз, даже если они разрушены. Гораздо спокойнее в открытом поле, подальше от дорог и строений; если найдется сухая воронка, то лучше всего... По теории вероятности, второй снаряд в одну и ту же точку не попадает.

← Так считал Паскаль, — сказал Женька.

— А ты его видел? — вдруг спросил кто-то.

— Нет, — ответил Женька. — Паскаль жил в семнадцатом веке...

— Тогда и бомб таких не было...

— Бомб не было, а теория вероятности была, — заметил Сергей Муратов.

В тендере разбитого паровоза, среди всяких обломков и сора, мы нашли полевую сумку. Было уже поздно, темно. И кто-то зажег спичку. В желтом пламени мы

увидели в руках Сергея Муратова гранату. И в следующий миг прозвучал его срывающийся голос.

— Кольцо!

Он отбросил гранату, и мы выкатились под насыпь.

Над нашими головами просвистели осколки, и в следующую минуту мы услышали взрыв. Война, таившаяся в тендере паровоза, накрыла нас пылью, толкнула взрывной волной.

Мы поднялись и увидели Сергея, зажимавшего рукою плечо. Из-под его ладони сочилась кровь. Он едва успел спрятаться за железную переборку, отделявшую тендер от кабины паровоза.

Когда мы вышли из медпункта завода, Сергей сказал:

— Нет, ребята, наши раны не в счет. Они достались нам даром... Одно только принадлежит нам по праву — память.

4

Она была похожа на Любовь Орлову.

И ее называли актрисой.

Она укладывала косы валиком и носила шапочку с загнутыми кверху маленькими полями.

Ее все любили.

Она прекрасно пела «Лунный вальс». Это была песенка из кинофильма «Цирк»:

Мери едет в небеса,
Мери видит чудеса.
Вместе с солнцем и луной
Закружился шар земной...

Мы тогда работали в котельном цехе.

Крыша цеха была стеклянная. Она поднималась над стенами и держалась на угловых металлических опорах. А по стенам были проложены рельсы. По этим рельсам

передвигался мостовой кран, перекинутый поперек цеха, от стены к стене.

Мостовой кран был снабжен мощным механизмом, который позволял поднимать и переносить из одного конца цеха в другой огромные тяжести. Стальной крюк опускался и поднимался на любую высоту, к тому же он перемещался по всей длине мостового крана. Чем бы мы ни были заняты внизу, мы всегда чувствовали над собой эту громаду, неслышно скользящую и всюду поспевающую.

Грохот в цехе стоял такой, что своих голосов мы не слышали. Работали отбойные молотки, сбивающие накипь внутри паровозных котлов, размахивали раскаленными клещами клепальщики, гремели молоты.

У крановщицы Клавы под рукой была сирена. Если она видела, что кто-то зазевался и оказался под грузом, она включала сирену... Техника безопасности была простая: ревет сирена — оглянись!

Мы не сразу освоились с цехом и его правилами. Начальник смены опасался, чтобы с нами чего-нибудь не случилось. Забот у него и без нас было много.

Рабочих не хватало... Он нуждался в нашей помощи, но не хотел, чтобы мы попадались ему на глаза. На всех углах появились фанерные щиты с надписями: «Будь внимателен! Мостовой кран!», «Осторожно! Ток высокого напряжения!». Он был художником-любителем и сам рисовал плакаты, на которых мы узнавали себя.

Начальник смены был из фронтовиков. Правая нога не сгибалась в колене. И ему трудно было ходить по лестницам. Его раздражала наша беготня, в которой часто не было никакого толка и смысла.

— Цирк, — говорил он, глядя на Любовь Орлову, которая преспокойно сидела на полумесяце крюка от мостового крана и смотрелась в зеркальце.

У Клавы не было замены. И тогда Леша Головачев стал просить ее, чтобы она научила его управлять кра-

ном. Леша был прирожденным механиком. По воскресеньям он уезжал к деду на подсобное хозяйство и водил трактор, старенькую машину, которую нужно было все время чинить.

Клава сказала:

— Да разве можно?

Ей казалось, что мостовой кран никому, кроме нее, служить не будет. Она управляла им со страхом и любовью. Кран казался ей каким-то одушевленным существом. Чем-то вроде большой бодливой коровы, к которой чужого человека и подпустить страшно.

Однажды Клава опускала тяжелый груз на платформу. А там, на этой самой платформе, на которую должна была опуститься плита весом в несколько тонн, кто-то расстелил газету и положил на нее хлеб, луковицу и нож.

Клава остановила кран в двух миллиметрах от этого натюрморта. Каким образом она увидела со своей высоты все то, что было на платформе, понять было невозможно. Начальник смены объявил ей благодарность за мастерство.

Леша был настойчивым. Он принес Клаве целую корзину кукурузных початков с подсобного хозяйства. А у Клавы были дети дома.

И она согласилась учить Лешу. Даже объяснила ему, как включается сирена.

Мы многому научились на заводе. И скоро перестали бегать без толку по лестницам: не хватало ни времени, ни сил.

И все же мы были тем, чем были тогда.

В конце обеденного перерыва, когда Клава еще не вернулась в кабину, Леша сдвинул мостовой кран, и огромный, вытертый добела стальными тросами крюк тихо опустился к ногам нашей актрисы.

И она прыгнула на стальную дугу, похожую на полумесяц, и поплыла над нами.

Мери едет в небеса,
Мери видит чудеса.
Вместе с солнцем и луной
Закружился шар земной,
Все танцует в этой музыке со мной...

Она была худенькая, в матерчатых брючках и лыжной курточке. Косы ее были уложены коронкой, и Клава всплеснула руками:

— Цирк!

Начальник смены тоже засмотрелся на Любовь Орлову, но потом сказал сердито:

— Мальчишки!

И голос его утонул в звуках заводского гудка, возвещавшего начало новой смены.

5

Ольга Николаевна вернулась из института поздно вечером. Она открыла ключом дверь подъезда и поднялась на второй этаж.

В квартире, как всегда, было очень тихо. В комнате горела лампа на тумбочке возле окна. Вера Васильевна, наверное, не слышала, как щелкнул замок.

И вдруг Ольга Николаевна заметила в передней неловко поставленный чужой чемодан. Потом увидела Веру Васильевну в зеркале и бросилась мимо нее в комнату.

Там, укрытая пледом, отвернувшись к стене, на диване спала девочка.

— Катя! — вскрикнула Ольга Николаевна.

Девочка пошевелинулась, повернулась к ней лицом, но не проснулась, только смутная улыбка скользнула по ее губам.

Ольга Николаевна опустила перед ней на колени.

— Катя! — повторила она и заплакала.

Вера Васильевна наклонилась, обняла ее за плечи и сказала дрожащим голосом:

— Успокойся! Она вернулась. Успокойся. Она так устала. Пусть спит. Потом...

— Доченька, — сказала Ольга Николаевна, как бы не слыша того, что говорила ей Вера Васильевна. — Вы видите, Вера Васильевна, она вернулась...

Ольга Николаевна называла свою свекровь по имени и отчеству и на «вы». Они никогда не были близки. Но теперь у них все было общим — и горести, и радости. От прежних размолвок не осталось и следа.

Андрюша был на фронте.

— Теперь, — сказала Вера Васильевна, — ты можешь ему написать правду, что Катя вернулась.

— Да, да, — согласилась Ольга Николаевна, — теперь мы вместе напишем ему правду, что Катя вернулась. И пошлем ему фотографию. Боже мой, завтра воскресенье. Надо нам сняться всем вместе. Ведь он в каждом письме просит прислать фотографию. Теперь я понимаю: он нам не верил... Вера Васильевна, ведь он нам не верил! А она вернулась. Вы видите?

Ольга Николаевна хотела снова подойти к спящей девочке, но Вера Васильевна ее остановила..

— Она так устала, — сказала Вера Васильевна. — Пусть спит. Три недели в эшелоне...

— Доченька моя! — говорила Ольга Николаевна, чувствуя, что в ней поднимается какая-то смутная тревога. — Как она исхудала, совсем не похожа на себя.

— Нет, она очень похожа на Андрюшу, — сказала Вера Васильевна. — Я знала, что она вернется, у нее мой характер.

— Она ела что-нибудь? — озабоченно спросила Ольга Николаевна.

— Немного, — ответила Вера Васильевна. — И уснула за столом.

— А отец? — вдруг спросила Ольга Николаевна. — Почему вы ничего не говорите об отце? Что с ним?

Отец Ольги Николаевны перед самой войной приезжал в гости и увез с собой Катю в Воронеж. Он был учителем в сельской школе, любил далекие конные прогулки по окрестностям.

У него была уникальная коллекция рукописей, которые он собирал всю жизнь. Вера Васильевна решительно возражала против этой поездки. Но дед Николай Арсеньевич настоял на своем. Вера Васильевна считала Николая Арсеньевича и Ольгу Николаевну людьми непрактичными, мечтателями. Говорила, что они погубят Катю, потому что позволяют ей, как амазонке, скакать на дикой лошади...

Напрасно Ольга Николаевна убеждала ее в том, что лошадь совсем не дикая. Она сама выросла в степи и так же, как Катя, в четырнадцать лет любила лошадей.

Ольга Николаевна стояла выпрямившись перед Верой Васильевной. Их разделяла только бронзовая лампа, которая вдруг показалась Ольге Николаевне похожей на светильник с открытым пламенем.

— Почему вы молчите? — повторила свой вопрос Ольга Николаевна. — Что с отцом?

Вместо ответа Вера Васильевна неловко придвинулась к ней, обняла ее и заплакала, спрятав лицо у нее на груди.

Николай Арсеньевич успел вынести из дома, зажженного фугасной бомбой, рукописи. «Это все, что я мог сделать для России», — сказал он.

И Катя привезла его коллекцию. Пронесла ее через сутолоку вокзалов, через эшелонные пересадки, через многие города. Ее вывезли вместе с учениками Николая Арсеньевича в эвакуацию, и с большим трудом добрые люди, попутчики, кондукторши попутных поездов довели до родного города.

Катя долго не могла поверить в то, что она дома. И

только когда Вера Васильевна уложила ее на диван и укрыла стареньким пледом, как в раннем детстве, она успокоилась и уснула. Ольга Николаевна не говорила ни слова, пока Вера Васильевна рассказывала ей обо всем этом. Казалось, она ей не верила...

Вера Васильевна положила на стол стопку бумаг, перевязанных суровой ниткой. Ольга Николаевна включила настольный свет, присела на стул и коснулась пальцами рукописей. Ей были знакомы эти бумаги.

Это было как прикосновение к отцовской памяти. Сквозь слезы она видела степь, отца в чесучовом костюме и в соломенной шляпе, еще совсем молодого, каким он был в те годы, когда она ездила вместе с ним разыскивать следы библиотек и архивов на местах, где некогда стояли старые усадьбы.

Письма Петра Великого, записка Сперанского, счет Орлова-Чесменского, миниатюра декабриста Бестужева... И еще тетрадка комментариев к этим находкам.

А кто напишет комментарий к жизни того, кто спасал эти бумаги из огня, от уничтожения, кто передал их в детские руки вместе с уверенностью, что это руки, способные спасти историю от забвения?

Воронежские рукописи лежали перед ней. Вера Васильевна стояла рядом. И Катя спала на диване, укрытая пледом. Она свято исполнила то, что должна была исполнить.

— Мама, — позвала Катя, открывая глаза, — Это правда?

6

Школа работала в три смены. Утром приходили малыши, днем учились средние классы, а вечером парты занимали старшие школьники.

Уборку школы производили раз в неделю все вместе — младшие и старшие. Мыли полы, чистили стекла, починяли парты, которые за неделю так расшатывались, что приходилось их заново сколачивать.

За партами сидели не по двое, а по трое и даже вчетвером. Тесно было, особенно зимой, в пальто, — потому что было холодно, а дров и угля не хватало. Замерзшие пальцы отогревали дыханием.

Молодых учителей в школе не было. Литературу нам преподавал Василий Никифорович Воскресенский. Седой старик, говоривший тихим голосом, как бы по секрету, о Пушкине и Толстом. Его жена приносила ему на большую перемену завтрак, завернутый в полотенце. Она вся светилась от худобы. И мы называли ее Лампадкой.

Военному делу нас обучал простуженный фронтовик с пустым рукавом. Он учил нас разбирать и собирать винтовку, повторяя как заклинание названия составных частей затвора: «Стебель, гребень, рукоятка...» Винтовка была старая, трехлинейная, в армии на вооружении был уже автомат.

Учились мы в помещении детской технической станции. А в здании нашей школы, построенной в 1940 году, расположился военный госпиталь. Поэтому мы часто бывали в классах, превращенных в больничные палаты, и знали «множество историй про человеческое горе». Раненые называли нас шефами, а какие мы были шефы! Мы были ученики суровой эпохи.

Здесь читала свои стихи Анна Ахматова. В тот день в зале для нее мы готовили трибунку в светлом уголке у окна. И не увидели, как она взяла халат и в сопровождении главврача прошла в палату.

Сержант Еремеев, никогда прежде не слышавший ее имени, весь в белом, руки на растяжках, как серафим, все приподнимался на своей койке, чтобы взглянуть на нее. Потом он нам сказал:

— Эх, ребята, жаль, вы опоздали. Тут сестра пришла...

— Какая сестра?

— Нездешняя... Вы ее не знаете. Песни рассказывала...

Новые стихи Ахматовой, ее «Мужество», казались отрывками из «Повести временных лет» или из русских дружинных повестей.

Однажды к нам в класс пришел новичок.

— Давно я не был в школе, — сказал он, поживаясь.

Звали его Зяблов. Он пристал к воинской части, отходящей на новый рубеж. Прodelал с ней многокилометровый путь, пока его через несколько месяцев не отправили в тыл эшелонам.

Месяц он ехал в теплушке, питался на продпунктах как солдат и наконец добрался до нашей школы. В Ташкенте он разыскал свою дальнюю родственницу, которая приняла его как родного сына, одела как могла.

В нашем классе были дети из разных городов страны. Кто из Москвы, кто из Ленинграда, кто из Грозного, кто из Киева... Из великих и малых городов, к стенам которых подступила война.

Как-то мы пошли в кино. Смотрели картину «Подкидыш». А там — довоенная Москва. Лена Прохорова вскрикнула, когда увидела улицу Горького, а потом заплакала и не могла смотреть на экран.

— Ой, мальчики! — сказала она. — Как я по Москве соскучилась!

Сестры Петровские ее утешали и успокаивали, потому что они были из Ленинграда. А про Ленинград тогда фильмов не показывали.

Зяблов досмотрел картину до конца и поужился. А потом, когда мы вышли из зала, стал рассказывать про отступление. Как он вышел из леса, увидел наших солдат и побежал к ним. И как в эшелоне печку топили

щепками от разрушенной бомбой сторожки. А поезд шел медленно, и можно было спрыгнуть на землю и бежать рядом с вагоном, чтобы ноги размялись, а потом тебя втащат за руки в теплушку.

Кто из Москвы, кто из Ленинграда, кто из Киева... Учительница наша, Мария Георгиевна, была родом из Чернигова.

Однажды она читала нам летопись «Повесть временных лет». Учила нас истории. Хорошо читала. Понятно. Как пришли половцы и потянулись люди по дорогам, между собою тихо говоря: «Я был из такого-то города, я был из такого-то села...»

— Я был из Ефремова, — сказал Зяблов.

И стало тихо.

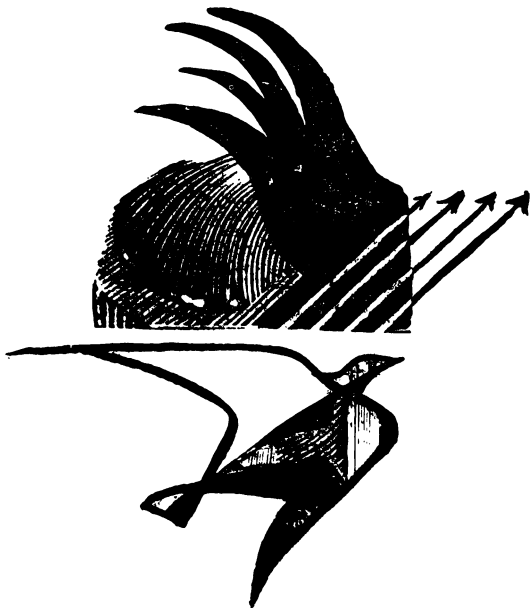
Мария Георгиевна опустила книгу и сказала:

— Дети мои!

И все увидели, что она плачет.

У нее два сына были на фронте.

В тот день мы больше ничего не читали.



ПОВЕСТИ

ЗИМА В ТАШКЕНТЕ

Карина Карловна боялась писем.

Она разносила их по адресам тотчас же, как только приходила почта. Но больше всего ее тревожили неразысканные адресаты. Они не давали ей покоя, и она знала их на память.

Иногда она просыпалась по ночам и бормотала чужие адреса. На письме написано: «Пушкинская улица, дом 2, квартира 70». Но в доме номер 2 нет квартиры 70.

Утром она шла в дом номер 70... Иногда это были удачные розыски. Стопка недоставленных писем лежала на столе у изголовья ее кровати.

Она разбирала их при свете ночника и горевала над ними. Адреса, адреса, адреса...

— Мама, ты опять не спишь? — спрашивала Надежда, дочь Карины Карловны.

— Спи, спи, доченька, — отвечала Карина Карловна и гасила свет.

Обе они поднимались очень рано, завтракали в своей комнате и расходились по делам: мать—на почту, дочь—на парашютный завод.

Вечером Надя часто уходила к подругам, и Карина Карловна оставалась одна. Сидела у окна, закутавшись в старенький плед, и ждала возвращения Надежды. Иногда слушала радио, не зажигая огня.

В районе Карины Карловны был военный госпиталь. Она приносила туда целую пачку писем ежедневно. Но никогда не поднималась в палату. Ей страшно было

подумать, что она может увидеть глаза тех, кто не получил письма.

Многих она знала заочно, по фамилиям и именам. Например, майора Миронова, которому ежедневно кто-то писал из Новосибирска. Наверное, жена. Кто еще может писать так часто...

А потом писем вдруг не стало. Карина Карловна решила справиться у дежурной сестры.

— А что майор Миронов? — спросила Карина Карловна. — С ним все в порядке?

— Да, — ответила дежурная сестра, принимавшая почту. — К нему жена приехала.

Карина Карловна вздохнула с облегчением. Да, конечно! Она приехала сама... И вот почему нет больше надобности в письмах.

Кто-то позвонил в дверь. Слышно было, как соседка Бутырина прошла по коридору. Она всегда выходила первая на звонок у входной двери. Все ждет, что кто-нибудь принесет ей вести от Андрея, пропавшего на Северном фронте. В почту она больше не верила...

Люди искали друг друга, окликали по именам, по всей стране протягивались эти трассирующие нити ежедневной почты. И Карина Карловна шла под дождем, под снегом, под зимним солнцем в своих чиненых фетровых довоенных ботиках по всем адресам, какие можно или нельзя было найти в огромном городе.

И если появлялась новая фамилия, она это сразу замечала. Кто-то приехал, кто-то вернулся, кого-то не стало, что-то переменялось в мире. И мир изменялся у нее на глазах каждую минуту: с каждым новым письмом он был уже другим.

Карина Карловна радовалась, что к майору Миронову приехала жена. И не сомневалась, что он теперь поправится... Даже выпросила у дежурной сестры, как это удалось жене майора добраться до Ташкента в такое время. Все-таки путь не близкий.

У дежурной сестры Веры Петровны всегда было много дел, но все же она выкраивала минутку, чтобы поговорить с Кариной Карловной. Они были соседками, жили на одной улице. Вера Петровна даже помнила Сергея, мужа Карины Карловны.

— Ей повезло, — сказала Вера Петровна. — Она работает проводницей на железной дороге. Была в бригаде, которая ездила на восток, потом перевелась на Среднеазиатскую ветку.

— Да, ей повезло, — сказала Карина Карловна и подумала, что, если бы ее Сергей был жив, она бы поехала к нему куда угодно.

Но Сергея не было в живых. Он погиб еще до войны, во время аварии на заводе. Карине Карловне казалось, что она тогда была еще очень молодой. А потом сразу стала старой.

Она возвращалась из госпиталя в сумерках. И думала, что могла бы пригласить к себе жену майора Миронова, если ей негде остановиться в чужом городе. Тесно, конечно, но что делать. Война для всех война. И надо как-то жить.

С некоторых пор Надежда стала возвращаться домой позже, чем обычно. И напевала что-то про себя, какую-то новую песенку:

Разве у вас не бывает
В жизни подобных минут?..

И Карина Карловна понимала, что это неспроста. Война есть война. А молодость есть молодость. И Надежда приносила домой большие букеты цветов.

Карина Карловна не спрашивала ее, откуда эти цветы. Сначала она было подумала, что они являются из рук «сиреневого соседа», как она называла одного

из новых жильцов за то, что он носил какое-то сиреневое пальто.

Он работал рентгенологом в госпитале, жил один. Только сиреневый сосед, как думала Карина Карловна, мог тратить деньги на такую роскошь. Зимние цветы, наверное, были из оранжерей. И Карина Карловна с осуждением любовалась хризантемами и качала седой головой. А Надя напевала свою песенку: «Разве у вас не бывает в жизни подобных минут?»

Наконец Карина Карловна не выдержала и спросила:

— Откуда такие цветы, Надежда?

Надя обняла ее за плечи и сказала:

— Мамочка, ты ничего не понимаешь!

И Карина Карловна все поняла. Она поняла, что сиреневый сосед тут ни при чем. А когда она увидела Надю под руку с молодым военным, который говорил с ней почтительно и тихо, она поняла и то, что скоро ее почтовая сумка станет одним письмом тяжелее.

Лейтенанта звали Марат. Он окончил летное училище и познакомился с Надеждой. Шли последние дни его пребывания в городе. Марат принимал на заводе продукцию и легко переносил к машине деревянные чемоданы, выкрашенные в защитный цвет. Надя записывала у машины цифры приема и сдачи.

— Вам тяжело, наверное, — сказала Надя, взглянув на большие чемоданы с металлическими уголками.

— Что вы! — ответил Марат. — Они легкие как перышко! — и он сдвинул на затылок пилотку.

Вечером он ждал Надю у ворот завода. И они пошли вместе куда глаза глядят, разговаривая обо всем на свете, кроме того, что через несколько дней Марат должен покинуть город.

Любовь военных лет умела быть осторожной. Она шла между слов, как по минному полю.

Отец Марата работал в городской оранжерее. Но в цветах было что-то тревожное. И Надя попросила Марата не приносить цветы. Он понял ее и кивнул.

На заводе Надежда думала о встрече с Маратом и поглядывала на часы в ожидании конца смены. А когда он был рядом, она не думала ни о чем. У него было почти детское угловатое лицо. И когда он снимал пилотку, бритая голова дышала домашним теплом.

Марат говорил об учениях. И Надежда напряженно слушала его. Те самые парашюты, которые она видела горами наваленными в цехах завода, все теперь были связаны с его жизнью. И глядя, как он закуривает тонкую белую папиросу, сжимая мундштук углами рта, она испытывала тревогу и тоску.

Уголек папиросы ярко светился в темноте. Был поздний вечер. Скоро должна была вернуться Карина Карловна. Она ушла к своей подруге по гимназии на другой конец города. Надежда и Марат были одни. Скучный ужин стоял на столе нетронутый.

В окно был виден кусок неба с тяжелыми тучами.

Иногда пробивалась луна и снова тонула в дымных полотнищах тумана. Зима в Ташкенте в тот год была особенно долгой и холодной.

Надежда накинула на плечи Марата отцовскую меховую куртку. И он поцеловал ее руку.

Карина Карловна со двора увидела темные окна. И удивилась, что в такой поздний час Надежды нет дома. Но, когда она вошла в комнату, там уже горел свет.

Надежда и Марат сидели за столом и пили чай. Дети встали ей навстречу. Марат склонил голову перед Мариной Карловной, а Надя сказала:

— Мама, познакомься, пожалуйста, это Марат.

Карина Карловна покорно протянула ему руку и сказала:

— Я давно хотела с вами познакомиться.

Марат ответил так, как она хотела бы, чтобы он ответил:

— Мне кажется, что я вас давно знаю.

Потом они вместе сидели за столом и говорили о погоде, о том, что опять идет снег и трамваи ходят с перебоями...

Карина Карловна смотрела на Марата и старалась вспомнить, кого он ей напоминает. И не могла вспомнить. Что-то было в нем знакомое с давних пор. И она подумала, что, может быть, Надежда будет с ним счастлива.

— Мне пора, — сказал Марат и поднялся из-за стола.

Надежда сказала, что проводит его. Пока Марат надевал шинель, Карина Карловна оставалась за столом, отодвинувшись в тень и наблюдая за детьми. И вдруг она отвернулась, чтобы они не заметили страха, мелькнувшего на ее лице.

Попрощались. И дети ушли из комнаты. Карина Карловна подошла к окну и увидела, как они идут через двор, взявшись за руки. Снова пошел снег, и стало туманно. И фигурки детей растворились в темноте. Снег шуршал о подоконник, и ветер раскачивал нагие ветки акации под окном.

Когда Надежда вернулась, Карина Карловна сказала:

— Я вспомнила, кого он мне напоминает. Он очень похож на нашего бедного Жорика.

Капитан Шумов приподнялся на койке и посмотрел на своего соседа. В госпитальной палате горел ночник — тусклая лампочка на столике у окна. Тени ло-

жились длинными полосами у изголовья майора Миронова.

По ночам Миронов стонал и громко разговаривал сам с собой. Шумов не решался ни окликнуть, ни разбудить товарища. Он только прислушивался к его словам. И, не понимая их смысла, испытывал страшную тоску.

Миронов говорил кому-то страстным шепотом:

— Не могу... Не могу я нести чемоданы. Нет, они не тяжелые. Легкие! Понимаешь? Но я ранен. Слышишь, я ранен. Я не могу нести чемоданы. Нет, нет, они легкие...

Он беспокоился, что поезд уйдет или уже ушел. И так повторялось каждую ночь. Уходил какой-то поезд. Надо было кому-то помочь. Отнести чемоданы. Легкие... Миронов шептал: «Я ранен! Я не могу больше носить чемоданы!» Иногда он плакал во сне и сжимал кулаки.

И поезд уходил без него.

И Шумов понимал, что Миронову снится довоенная жизнь, вокзал, где он встречал или провожал кого-то, и все вокруг суетились и просили его помочь. И он тогда был молодой, здоровый и сильный, и чемоданы были тогда такие легкие...

Из имен, которые называл Миронов, составила́сь целая большая семья, он был самым старшим и потому всем хотел помочь и все сделать сам. Это были обрывки воспоминаний ранней молодости, которые явились вдруг здесь, в госпитальной палате, странными обрывками.

Чаще других всплывало в памяти Миронова имя какой-то Валентины, которая куда-то уезжала или возвращалась. И наконец уехала навсегда. «Прости меня, — говорил Миронов, — прости, я ранен».

Шумов однажды спросил Миронова, кто такая Валентина.

Миронов не мог вспомнить. И сам вдруг спросил Шумова:

— А что это ты ночью-то все пел? Про Демона какого-то.

Шумов удивился и сказал:

— Пел я когда-то, правда. В последний раз в десанте пел, когда патроны кончились. Голос сорвал, а из окружения все-таки вышли.

Когда Миронов узнал, что к нему приехала жена, он попытался подняться, упал на жесткую и смятую подушку и закрыл глаза. Медсестра Зина принесла ему лекарство. Она тоже была встревожена, и руки ее дрожали, когда она подносила Миронову склянку с каплями.

Зина как будто боялась, что жена Миронова будет недовольна ею, и все поправляла постель и подушку раненого. Переставила ночник к изголовью Миронова, переменяла занавески на окне. Больше ничего она переменить не могла. И, сложив руки на груди, молча смотрела на Миронова.

Он словно почувствовал ее взгляд и сказал:

— Уйди, Зина, я тебя прошу...

Миронов подозвал к себе Шумова, когда Зина вышла из палаты, попросил его наклониться ближе и сказал:

— Капитан! Я тебя прошу... Сейчас придет Ангелина. Жена... Ты не уходи. Разговаривай давай, шуми, кури в палате, постарайся побольше смешного рассказать, какие-нибудь фронтовые, знаешь, эпизоды... Не хочется, чтобы она сразу поняла, что мне отсюда не выбраться.

Миронов большую часть дня лежал, отвернувшись лицом к стене. По вечерам он диктовал Зине свои домашние письма. Зина его очень жалела. А теперь он испугался, что Ангелина сразу поймет неправду его писем, в которых он уверял ее, что скоро поправится и вернется домой, хотя и простреленный навывлет, но живой.

Особенно нравилось ему это выражение: «простреленный навывлет, но живой». Ему казалось, что там, в

тылу, это должно было звучать как хорошая фронтовая шутка.

Шумов обещал ему сделать все, как он просил. И он стал даже напяливать на себя гимнастерку с медалями и орденом Красной Звезды. Палата, в которой они были вдвоем, прежде служила вахтерской комнаткой при школе. Палата эта, или вахтерская комнатка, была маленькая, узкая, с одним окном, на первом этаже. Дверь ее открывалась прямо в вестибюль.

Шумов услышал звук торопливых шагов по кафелю. И догадался, что это дежурная сестра Вера Петровна провожает до самой двери Ангелину. Он застыл у своей койки. И дверь отворилась.

В палату вошла Ангелина. Она была тоненькая-тоненькая, в белом покрывале. То есть, это был белый халат, накинутый на плечи. Но он почему-то показался Шумову именно покрывалом. Она сразу увидела Миронова и остановилась на пороге.

Вера Петровна заглянула в палату, вопросительно взглянула на Шумова и скрылась, притворив за собою дверь. Шумов не успел проронить ни слова, когда Ангелина сделала ему знак рукой, чтобы он оставил их одних. И Шумов не осмелился заговорить.

Вышел в коридор в своей заправленной под ремень гимнастерке с медалями и орденом Красной Звезды. И прислонился к косяку закрытой двери, вспоминая беспомощный взгляд, которым проводил его Миронов.

Ангелину приютила в своей каморке сестра Зина. На следующей неделе она должна была уехать обратным рейсом в Новосибирск. И через две недели вернуться... Ангелина привезла с собой кувшин сибирского меда. Шумову казалось, что она ничего не поняла.

Когда ее не было в палате, Миронов рассматривал свои руки. Ладони стали тонкими, и кожа просвечивала

между пальцами. Мионов глядел на свои руки и видел, как из них уходит жизнь. Он был до войны агрономом, и руки его хранили следы больших работ.

— Что такое война? — говорил Мионов. — Это бесконечные земляные работы. Сколько я себя помню на фронте, я все время рыл землю, то окоп, то землянку, то бруствер насыпал. Как в родном колхозе... Ангелину жалко. Одна останется с детишками. Старший в четвертом классе.

И говорил спокойно, как будто не о себе, а о ком-то другом, кого он хорошо знает и видит как бы со стороны всю его жизнь.

Сестра Зина заглянула в палату и стала укорять Мионова:

— Что ты? Что ты? Разве так можно? Совсем замутил Ангелину. Говоришь: уезжай да уезжай! Плачет она, говорит, что ты чужой какой-то стал, ровно тебя подменили!

— Не чужой я! — вдруг закричал Мионов. — А не хочу, чтоб она меня видела таким!

Слова срывались у него с губ отрывистые, жестокие, горячие. Глаза сверкали исподлобья, и он даже приподнялся на своей койке. С ним случился тот жестокий приступ отчаяния, когда силы человека удваиваются, и он способен сказать или сделать нечто непоправимое.

Зина знала эти припадки тяжело раненных солдат, после которых они плачут, как дети, зарывшись в госпитальное белье. И она, не обращая внимания на крики Мионова, укладывала его и гладила его трясущиеся плечи. Мионов глядел на Шумова с какой-то безотчетной злобой.

И Шумов не двигался с места, давая ему возможность высказаться, не обижаясь на то, что он упрекал его в том, что он не сдержал слова и все-таки вышел из комнаты, когда пришла Ангелина. Что он мог отвечать ему?

...И вот они сидят в палате втроем, Миронов, Шумов и Ангелина. На табурете возле койки Миронова устроен чайный стол. Раскрыт кувшинчик с сибирским медом, нарезан тонкими ломтиками пайковый хлеб.

Миронов совершенно успокоился. Ему стало лучше. Он покорно пьет чай, который ему подносит Ангелина, и разговаривает с ней ласково. Шумов старается поддержать разговор, но это у него плохо получается.

Рассказывает Миронов про какого-то лейтенанта, который попал на фронт мальчиком, таким оранжерейным цветочком. От земляных работ у него скоро появились волдыри на ладонях. Миронов даже засмеялся. От непривычки к земляным работам! Он думал, что война это что-то другое, а она оказалась прежде всего земляными работами. Как в родном колхозе! И Миронов смеялся и проливал чай на простыню.

Ангелина тоже смеялась испуганно и, казалось, не слушала, что говорит ее муж, а только вслушивалась в его напряженный голос. И сама говорила, что Пашенька, как она называла мужа, своими руками вспахал не одно поле на свете. И еще вспашет в родном колхозе, где его жаждались...

А Миронов опять про своего лейтенанта рассказывал. Был он любимый сын у родителей. Сначала ничего не умел... Но за все брался сам. Потом всему научился. Машину водил как бог! На минном поле танк Миронова подорвался. Он его вытащил из огня...

У Миронова было тяжелое ранение. Он перенес две операции, но сердце не выдерживало.

И Миронов беспомощно поглядывал на Ангелину. А она слушала его и все удивлялась тому, что Пашенька с того минного поля выбрался, а в госпитале застрял.

— У нас в десанте еще и не такое бывало, — начал было Шумов.

Но в это время в дверь палаты постучала Вера Петровна.

— Шумов, — сказала она, — можете идти в город, вы просили...

Шумов ни о чем не просил, но он сразу оценил обстановку.

— Что ты все сидишь и сидишь в палате, — сказала ему Вера Петровна, когда он вышел вслед за нею в вестибюль. — Дай им побыть наедине. Поди отпросись, погуляй... Тебе это полезно.

— Да, — сказал Шумов. — Я пойду, правда...

Он слышал, как в палате за его спиной наступила тишина. Миронов ничего не говорил, ничего не говорила Ангелина.

Шумов надел шинель, затянул пояс и вышел из госпитального подъезда. Начинало смеркаться, было холодно. На столбе раскачивался старый довоенный уличный фонарь — плоский жестяной диск без лампочки.

После чая в палате с Мироновым, к которому он привык за целый месяц общей жизни в госпитале, и с Ангелиной, которая была полна мыслями о доме, Шумов вдруг почувствовал себя в большом городе одиноким.

Родных у него не было. А след Ники давно потерялся, и он уже не надеялся ее отыскать. Столько времени прошло. Он уже трудно мог представить себе и свою довоенную профессию учителя географии в школе, и свое отношение к той девочке-музыкантше, которую он считал своей невестой.

Шумов шагал медленно, опираясь на палку и разглядывая прохожих. Все они были разные и в чем-то похожие друг на друга. У каждого была какая-нибудь ноша. Кто нес в сеточке хлеб, кто тащил саночки с дровами, кто прижимал к груди какую-то домашнюю полочку...

Особенно поразило Шумова то, что он увидел на перекрестке. Там, под остановившимися часами, стояли двое — лейтенант в новенькой шинели и девушка в лег-

ком пальтишке. Казалось, они ничего не видели вокруг, но когда Шумов приблизился к ним, лейтенант приложил правую руку к виску.

Шумов пошел веселее. От движения и дыхания стало свободнее. Он был предоставлен самому себе на целый вечер. И с неба сыпался белый, чистый и легкий снежок.

«Что это?» — подумал Шумов, увидев толпу народа у подъезда окружного Дома офицеров. Он, госпитальный житель, был полон еще впечатлений от маршей, окопных стоянок, переформировок, эшелонных транзитов, где все совершалось как бы само собой, где ничего не надо было вперед загадывать и выбирать для одного себя, где все события совершались сразу и для всех.

И вдруг он увидел перед собой, хотя и наполовину затемненный, но городской, вечерний, настоящий театр, с афишами, зрителями у входа, и от него зависело — пойти или не пойти на представление. Туда, где в глубине зала есть настоящая сцена, и занавес, и кулисы... Это был московский театр, где он бывал когда-то с Никой до войны.

Шумов остановился. И сам того не замечая, поправил пояс на шинели, шапку сдвинул на затылок. Театр!.. Он перевел дыхание и медленно направился к подъезду. Собственно говоря, ему хотелось только узнать, какую пьесу играют сегодня и что можно играть в Ташкенте на Московской сцене в конце 1943 года, когда снег идет, стоят трамваи и продолжается великая война.

На афише было написано: «Таня». Пьеса Алексея Арбузова с Бабановой в главной роли. Шумов не поверил своим глазам. Таня. Бабанова... Сегодня! Как когда-то в Москве? И можно вот так подойти к кассе и купить билет? Оставить в гардеробе свою шинель и отыскать свое место где-нибудь в шестом ряду? И ждать, когда поднимется занавес?

Шумов не мог припомнить, что происходит с занаве-

сом в начале спектакля. Сердце его сильно билось. Ему казалось, что в опере занавес взвивается вверх с первыми тактами музыки. А в драме он непременно раздвигается медленно и торжественно. Но, так ли это бывает на самом деле, Шумов не помнил.

Он подошел к кассе и сказал кассирше, что он так давно не был в театре, не помнит, что происходит с занавесом в начале спектакля. Старенькая кассирша взглянула на него поверх очков и сказала, что, хотя все билеты распроданы, она найдет для него место в партере.

И отдала ему последний билет из резервной брони. Шумов взглянул на розовый листок. Место в шестом ряду!

В театре было холодно. Зрители сидели в пальто. Рядом с Шумовым оказался странный человек в очках с толстыми стеклами и в сиреновом макинтоше. Он почему-то поклонился Шумову, хотя они не были знакомы.

— Я смотрел эту пьесу еще в 1939 году, — сказал сиреневый сосед. — И тех, кто был тогда со мной в театре, уже нет в живых. А мне так хочется побыть одному вместе с ними, хотя бы здесь...

— Да, да, — ответил Шумов. — Вы совершенно правы...

И когда он взглянул на сцену, занавеса уже не было. Он пропустил этот таинственный миг начала спектакля. И сразу послышался голос Бабановой. Шумов тихо засмеялся от счастья и радости. Сиреневый сосед кивнул ему и отвернулся.

Это был голос давно оставленного и вдруг вернувшегося мира. Тогда был ясный, теплый вечер. Новенькие туфельки, купленные в Петровском пассаже, радовали Нику, но вот беда, они оказались тесными. И выясни-

лось это, когда она и Шумов были уже на полдороге к театру.

Ника не могла идти и хотела лететь и жалела, что у нее нет крыльев, чтобы не опоздать к началу спектакля. Пришлось взять такси. И вышло все уж слишком роскошно: в театр, в новеньких туфельках да еще в такси. Шумов осторожно положил свою палочку к ногам, потому что боялся выронить ее.

Так давно все это было. «Прошли года. Прошли дожди событий, прошли, мрача Юпитера чело. Пойдешь сводить концы за чаепитьем, — их точно сто. Но только шесть прошло...» Даже и того меньше. И где теперь может быть Ника, кто это может знать? Шумов беспомощно оглянулся в зал.

Потом он взглянул на сцену и узнал Таню. Это была она, Бабанова, и никакая другая актриса, как казалось Шумову, не могла быть другой Таней. Она сидела на кушетке слева. Справа от нее, у края сцены, стоял Лукьянов, игравший Германа.

Между ними было широкое московское вечернее окно, которое выходит, может быть, на Садовое кольцо. И так легко себе представить, что за этим нехитрым окном, сколоченным каким-нибудь нестроевым декоратором, настоящее московское небо с неяркими милыми звездами.

Шумов старался не проронить ни слова. Вот Герман, глядя в окно, сказал медленно и задумчиво: «Снег идет, Таня». Шумов знал на память, что ответит Таня, И он смотрел не отрываясь на Бабанову. Она прислушивалась к снегу, к самой себе, к словам Германа. И наконец сказала своим странным голосом: «Пусть идет...»

И таким счастьем повеяло в зал, что Шумов уловил свое и всех ответное движение, как будто все, сколько тут было зрителей, в один миг перевели дыхание. Как

будто эти слова могли быть не сказаны. В них была такая простота, свежесть и сила. И Шумов почувствовал, как снег тает у него на ресницах и ползет по щеке.

Приближался день отъезда Ангелины, но Миронов не хотел, чтобы она уезжала. Ему казалось, что с ее отъездом ему станет хуже. Теперь он сам находил причины, чтобы выпроводить Шумова из палаты.

И Шумов уходил бродить по коридорам, играл в шахматы с выздоравливающими, разговаривал с Верой Петровной, смотрел картину «Пятый океан», которую крутили на старой передвижке в бывшем гимнастическом зале, слушал радио.

Нога заживала, и он быстро шел на поправку. Доктор Аскарлов обещал его скоро выписать, и Шумов надеялся вернуться в свою часть. Хождение теперь стало для него продолжением лечения. И его часто отпускали в город.

Однажды Миронов достал из своей сумки зачитанную книгу, в которую было вложено письмо. Шумов успел заметить, что книга называлась «Почвоведение». Видно было, что Миронов ею очень дорожил.

— Слушай, капитан, — сказал Миронов. — Помнишь, я рассказывал про лейтенанта? Так вот это письмо его. Тут вот какое дело. Письмо это адресовано одной семье, его родственникам. В чем дело? Он пишет, а ему не отвечают. Просил разыскать... Он, когда узнал, что меня в тыл отправляют, очень просил передать письмо. Правда, адреса он не помнил точно, написал приблизительно...

Миронов взглянул на Шумова и добавил:

— Я просил Зину, но где ж у нее время? Не нашла она. А мне желательно просьбу того лейтенанта исполнить. По почте посылать нет смысла, не дойдет... Может, возьмешься?

— Что говорить, конечно, — ответил Шумов.

Он долго читал адрес, написанный ученическим почерком.

Шумов никогда прежде не думал, что всякая карта — это, в сущности, взгляд на землю сверху. Он понял это только тогда, когда попал в военную авиацию и увидел с большой высоты поля, реки, горы, которые были похожи на цветную двухверстку. Сквозь толщу пятого океана.

И даже самая древняя карта, о которой он когда-то читал реферат в институте, тоже была похожа на вид сверху, как будто и она была снята с самолета. О, это стремление к высоте! Без него не было бы ни писем, ни карт.

Он думал об этом на фронте, во время бомбежек, и когда служил в запасном полку, и когда попал в группу дальнего действия, заброшенную в тыл к фашистам. Во время десанта он был ранен и вывезен потом на самолете.

Положив письмо лейтенанта в нагрудный карман, Шумов подумал, как мучительно должно быть ожидание ответа, которого нет.

В те недолгие и прекрасные дни, когда Шумов работал учителем в школе, он говорил своим ученикам, что есть муза дальних странствий, как есть муза поэзии. И учил их собирать цветы и камни родной земли, ходить по берегам родных рек, встречать рассветы в поле и провожать закаты в горах.

Тогда география казалась ему чем-то цельным, прекрасным, как золотой шар — вся земля, омытая океанами и овеванная ветрами. Теперь он понял цену каждой малой точки на карте, если эта точка родной город или селение, через которые уже прошла война.

И вот еще одна точка, бесконечно малая, неопределенная, потерянная в пространстве, неизвестный адрес на конверте, спрятанном в нагрудном кармане.

Когда Шумова привезли в медсанбат и спросили его адрес, он назвал дом, в котором жил в детстве. Дома того давно уже не существовало. Но именно этот адрес был внесен в лечебную карточку Шумова. И он потом уже не исправлял этой ошибки. Дом, в котором он жил с отцом и матерью, снился ему во сне. И он очень жалел, что у него не осталось ничего, что бы напоминало ему о том времени. Ни шарфа, ни фотографии, ни зачитанной книжки. Да и где тут было что-либо сохранить, когда столько было событий, переездов, мобилизаций, перемен. От всей большой когда-то семьи оставалась лишь тетя Даша, но она вышла замуж за Парсаданова и уехала в Афганистан, где он служил в нашем посольстве. Шумов не переписывался с ней, потому что она теперь жила за границей. Так и оборвалась ниточка.

— Ты не забывай тетку-то свою, — говорила тетя Даша. — Мы с тобой оба Шумовы.

Она была рослая, красивая, с черными усиками над верхней губой. Носила длинные цветастые юбки и кофточки с короткими рукавами. Шумов вспоминал семейные поездки в Старый Крым по белой выжженной дороге в открытом автомобиле из военного дома отдыха. Отец был капельмейстером военного оркестра.

— Какие у тебя красивые руки, — говорила мама.

И тетя Даша смеялась, прикрывая глаза темными ресницами. А дорога пылила, и ветер уносил эту пыль на деревья. И Шумов слышал и сейчас, как шелестит листва, и пыль забивается в нос. Так давно это все было. А все перед глазами, и адрес не забылся. Город Симферополь, улица Садовая...

После смерти матери отец уехал в Казахстан. Писал письма, хотел взять к себе сына. Но ненадолго пережил

мать. И Шумов остался на попечении тети Даши, которая своими красивыми руками мыла, шила, стирала, работая что могла, вырастила его. А когда он поступил в институт, уехала...

Шумов уже поднимался на второй этаж без посторонней помощи, выходил в госпитальный садик, прогуливался по мощеным дорожкам.

«Ты ответь мне словом, взглядом или ничего не говори, я тебя и так пойму с полслова, только взглядом подари», — напевал он песенку из «Пятого океана».

За воротами госпиталя был город — большой, восточный, незнакомый город. Шумов смотрел из окна на улицу и видел прохожих, множество прохожих, занятых своими думами, своими делами. Между ними было много военных, но по всему было видно, что это тыл, далекий тыл, до которого надо ехать несколько недель в санитарном эшелоне.

И все же война была рядом. Она была всюду. И в самом воздухе, и в сводках Совинформбюро, и в ночных криках Миронова, и в солдатских колоннах, ночью проходивших по улицам затемненного города.

И Шумов в первый раз с удивлением подумал о том, о чем никогда не думал на фронте, — о том, что нужен был целый континент тыла, чтобы укрепить и выдержать линию фронта, протянувшуюся через всю Европу. Война была ни с чем несравнима. Никогда не бывало такой войны...

Перед ним была Азия, далекая и неведомая еще страна. Раз он видел, как по улице шел караван верблюдов. Улица была широкая и пустынная. Впереди на ослике ехал проводник, а за ним, как журавли, тянулись клином эти странные создания, величественные и жалкие одновременно.

Они шли, как привыкли ходить по своим степям, не

следом друг за дружкой, а каждый порознь, образуя два крыла, так что каждый из них видел всю дорогу впереди и никто из них не загоразживал собой другого. Пыль, которую они поднимали своими ногами, никому из них не слепила глаз.

Караван загородил всю улицу. И вдруг где-то позади каравана показались танки. Они шли сомкнутой колонной, но им пришлось остановиться. Шумов видел, как из головной машины выпрыгнул смуглый человек с подстриженными усами, оправил гимнастерку и побежал к проводнику. Они о чем-то поговорили, и караван остановился.

Проводник, высокий старик в зеленом халате и белой чалме, отвел в сторону своего ослика и подошел к верблюдам. Один за другим они отступали на обочину и опускались на землю, подгибая голенастые ноги. Но вид и грохот машин тревожил их. И они вытягивали свои птичьи длинные шеи так, что головы их были выше уровня танковых башен.

Танковая колонна проследовала по направлению к вокзалу. А Шумов еще долго размышлял над тем, что увидел в окно госпиталя еще в первые дни своего пребывания в тылу.

Шумов шел по трамвайному пути, занесенному снегом. Так легче было запомнить дорогу. Какая-то женщина, закутанная в оренбургский платок, сказала ему:

— Идите все прямо и прямо по рельсам. Они приведут вас на улицу Северную...

Странно было разыскивать улицу Северную в южном городе. И никто не знал, где она расположена. В городе было много новых людей, которые так же, как Шумов, оказались здесь не по своей воле.

Улица Северная — это было единственное достоверное указание в адресе того письма, которое Миронов

передал Шумову с просьбой разыскать родственников его фронтового друга.

И Шумов твердо решил исполнить эту просьбу, хотя бы пришлось ходить до самого вечера по всем дворам, по всей этой Северной улице в южном городе, засыпанном снегом. Он шел по шпалам и считал шаги. Одна шпала, другая...

Ему трудно было идти. Палка скользила в снегу, нога плохо повиновалась, как будто пропускала ритм... И он помогал себе всем телом. Он не просто шел, а учился ходить и не делал уступок усталости. Он уходил все дальше от госпиталя и не оглядывался. Смотрел себе под ноги и старался ступать уверенно и свободно. Он учился ходить, на груди у него было письмо, которое без него пропадет и исчезнет без следа.

На улицах было много народу. Жизнь продолжалась. Но Шумов чувствовал себя непричастным к тому, что было вокруг. И он плотнее запахивал шинель и натягивал шапку на уши.

Навстречу ему шла женщина и тянула за собой саночки с дровами. Одни глаза были видны из-под платка. Шумов скользнул взглядом по ее худенькой фигурке и прошел мимо. Подумал, что никак не определишь, сколько ей может быть лет: двадцать, тридцать?

Женщина остановилась и поглядела ему вслед. Она как будто узнала его, но боялась ошибиться, хотела окликнуть и что-то соображала, может ли быть такая встреча?

— Коля! — вдруг крикнула женщина и подняла руки, бросив саночки.

Шумов не оглядывался, потому что, хотя и слышал свое имя, никак не мог предположить, что его кто-нибудь здесь назовет по имени.

— Шумов! — закричала женщина, сложив руки возле губ.

И Шумов оглянулся.

Она бежала к нему навстречу, путаясь в полах своего длинного, не по росту пальто.

Наконец они узнали друг друга и обнялись, хотя прежде, там, давно, еще в Москве, они никогда не были столь дружны, чтобы целоваться при встрече. Но столько лет, столько событий.

— Живой! — кричала Инна. — Живой! Я тебя сразу узнала!

— Инна! — говорил Шумов. — Откуда ты? И почему здесь?

— Боже мой! — говорила Инна. — Здесь много наших. И Ника здесь... Ты разве не знал? Она с ленинградской консерваторией эвакуировалась в Ташкент.

Шумов мучительно соображал. Значит, все эти дни, пока он был здесь, где-то рядом была и Ника. И он ничего об этом не знал? Значит, он мог ее встретить гораздо раньше? И если бы он не встретил Инны теперь, он мог бы не узнать, что Ника в Ташкенте.

— Что ты говоришь? — сказал Шумов. — Разве ленинградская консерватория в Ташкенте?

— Конечно, — ответила Инна. — Неужели ты этого не знал?

— Но где? — спросил Шумов. — Скажи... И ты думаешь, что можно сейчас пойти к ней? И ты можешь меня проводить? Или хотя бы сказать адрес? Телефон! У нее есть телефон?

— Телефона нет, — сказала Инна. — Она живет недалеко отсюда. Но ты не найдешь один. Тебе трудно ходить?

— Пустяки, если недалеко! Говори...

— Пойдем ко мне, это совсем рядом, а потом я провожу тебя к Нике. Боже мой! Ее надо приготовить к этому. Ты будешь стоять за дверью. Нельзя же вдруг нам вместе войти к ней.

— Это ты будешь стоять за дверью, — сказал Шумов и засмеялся. И подумал, что он давно не смеялся так легко, как в эту минуту, когда Инна, милая, добрая Инна, которую все в институте звали царицей Тамарой, стояла перед ним и глядела на него снизу вверх.

— Берем саночки, и в путь! — скомандовала Инна.

Инна жила в маленькой комнатке на уплотнении в большом доме. Вход к ней был прямо со двора. Дверь плохо закрывалась. И ей приходилось изо всех сил налегать на нее плечом. А сил у нее всегда было немного. А теперь, глядя на ее исхудалое лицо и тоненькие руки, Шумов думал о том, как она живет тут одна.

— Ты не думай, — сказала Инна. — Я справляюсь. Ничего!.. Работаю чертежницей в строительном управлении. Паек у меня рабочий, восемьсот граммов хлеба, сахар. Даже папиросы выдают. Но я не курю. И папиросы меняю на кофе. Впрочем, у меня есть одна пачка «Казбека».

Шумов сидел на узенькой тахте у стены, застеленной пестрым ковриком. И думал, что где-то рядом, может быть, в такой же комнатке живет и Ника. Инна складывала дрова прямо в комнате у печки. Комната была выстывшая, холодная.

— Топить сейчас не буду, — сказала Инна. — Пойдем к Нике. А когда вернусь, вытоплю, а то все равно на ветер...

— Скорее! — сказал Шумов, хотя и чувствовал, что это с его стороны, может быть, и невежливо. Инна вернулась с работы, она устала, замерзла, ей надо хотя бы чашечку чая.

— Все равно, скорее, — сказал Шумов.

Инна натянула на голову платок, запахнула свое длинное пальто и сказала:

— Пойдем.

Она шла впереди и говорила, говорила без умолку. А Шумов старался не отставать от нее и слушал, слушал не перебивая.

— Сначала было трудно, — говорила Инна. — Новые места, новые люди... Знаешь, я однажды потеряла хлебные карточки. А потом нашла. Оказывается, они были в книге. Я взяла с собой несколько книг. Стихи Жуковского. Смеешься? А я читаю, как дома в детстве. Мама умерла... Я ее похоронила.

— Не может быть, — сказал Шумов.

— Это правда, — сказала Инна. — Она заболела воспалением легких. А ведь никогда не болела. Я не помню, чтобы она когда-нибудь болела. Мы ведь с нею были молодцы. Всегда одни и до всего сами. А теперь я одна. Ты поедешь со мной на ее могилу? Она тебя любила. Помнишь, у Жуковского: «Не унывай, минувшее с тобою...» — Инна посмотрела на Шумова детскими глазами.

Дом, в котором жила Ника, был большим и старым. Во дворе росли высокие акации. Инна повела Шумова в глубину двора, мимо низеньких сараев, замкнутых на замочки, мимо чужих окон, из которых на них смотрели детские и старые лица. Шумов заметил на стене одного из сараев надпись: «В шесть часов вечера после войны...»

Наконец они остановились перед обшитой кошмой дверью. Кошма кое-где оборвалась и висела клочками. Когда Шумов подумал, что сейчас эта дверь откроется и к нему выйдет Ника, точно такая же, какой он видел ее последний раз, ему стало дурно. Он перевел дыхание и сказал:

— Ты оставайся здесь, а я войду сразу!

— Хорошо, — кротко согласилась Инна.

Она даже отвернулась и потом спряталась за выступ дома.

Шумов постучал. Никто не откликнулся, Он постучал

еще раз. И дверь сразу распахнулась. На пороге стояла маленькая старушка.

— Войдите! — сказала она.

И когда Шумов вошел, она захлопнула за ним дверь.

Инне стало холодно. Она дрожала от ветра и нетерпения. Ветер усиливался. Было темно.

Инна вспомнила почему-то о том, что у нее нечиненные чулки, что она как-то опустилась за эту зиму без мамы, что чертежи, которые она начала сегодня, надо сделать заново, потому что тушь расплывается. И ей стало жалко себя, Шумова... Вот сейчас он увидит Нику и поймет, сколько они пережили за это время. Изменилась так, что не узнать. Одни глаза...

Инна редко встречалась с Никой. Видела и слушала ее в концерте. Она играла Рахманинова. Вышла на сцену в черном платье, в лакированных туфлях, бледная от волнения. Потом они сидели у Инны, пили кофе, вспоминали школу, Шумова и других ребят, но больше Шумова.

Когда-то очень давно в институте был драматический кружок. У Инны был хороший голос. Она пела партию Тамары, когда решили поставить на студенческой сцене отрывок из «Демона». Это было накануне лермонтовского юбилея, как раз перед началом войны. Шумов играл Демона.

Инна схватила за кулисами какую-то первую попавшуюся книжку и вышла на сцену. На сцене была келья Тамары. Сжимая книгу в руках, Инна пела: «Ночь тиха, ночь светла, я уснуть не могу...» И вдруг услышала смех и движение в зале. Она еще крепче прижала книгу к груди и продолжала петь.

Смех усиливался. Инна не знала, что случилось. Кинула взор за кулисы и увидела Демона, который делал ей какие-то знаки, стучал пальцем по лбу, хмурился

и делал страшные глаза. Она незаметно, как ей казалось, приблизилась к кулисам. И Демон прошептал:

— Спрячь книгу, Тамара!

Инна, продолжая петь, взглянула на книгу и увидела, что у нее в руках новенькое издание учебника истории (краткий курс). Тамара задумчиво положила книгу на стол и обернулась к залу.

Ее охватил такой ужас, что голос ее зазвучал на какой-то отчаянной ноте. И зал притих. На сцену вышел Демон в черном облачении, со сложенными крыльями. Он пел, как он пел — это знала одна только Инна. Этого не могла понять та девочка Ника, которую он привел на спектакль.

«На воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане хоры стройные светил».

Дверь отворилась. На пороге стоял Шумов. Из-под руки его выглядывала во двор маленькая старушка.

— Что случилось? — спросила Инна.

Шумов сказал:

— Пойдем! Ника в Москве!

Шумов подставил лицо падающему снегу. Шинель его была распахнута.

— Ника в Москве! — сказал он с волнением. — Ты понимаешь? Она дома!.. Она вернулась!

Они шли мимо глухой и высокой стены парашютного завода. На этой стене красными буквами было написано: «1943 год должен стать годом окончательного разгрома врага». Из громкоговорителя, укрепленного на воротах завода, лилась музыка. Шла работа, ночная смена, продолжалась война.

Мионов умер через два дня после отъезда Ангелины. Умер, никого не потревожив, ночью. Так что Шумов, проснувшись утром, ничего не заметил. Мионов лежал, повернувшись лицом к стене. Но Зина сразу все поняла. Она подняла подол своего халата к глазам и заплакала.

А письма все шли от Ангелины, каждый день. И надо было что-то решить, что-то написать ей. Шумов не находил себе места, перечитывал ее письма, в которых речь шла о детях, о дороге, о том, что в вагонах холодно...

И еще в письмах были такие слова уважения и любви, что у Шумова перехватывало дыхание. И он написал вечером письмо Ангелине, как бы продолжая разговор, начатый в палате.

На другой вечер сестра Зина написала второе письмо, уже сама от себя... И приписала поклон от Шумова. После того как Ангелина, по расчетам Шумова и Зины, должна была получить их письма, наступил перерыв. Письма от Ангелины не приходили два дня. Потом пришла телеграмма. Как раз под Новый год.

Ангелина просила сообщить ей правду. И Шумов пошел на телеграф. И подал телеграмму, в которой было четыре слова правды: «Майор Миронов скончался по-недельник». К тому еще Шумов добавил низкий поклон от себя и сестры Зины.

Ангелина приехала через две недели. Сказала, что ждала этого и все видела и поняла с первого взгляда. Дети еще ничего не знают.

Шумов и Ангелина были на кладбище, где покоился майор Миронов. День выдался морозный. Иней сверкал на гранитах старых могил. Ангелина встала на колени у свежего холмика и жестом показала Шумову, чтобы он ушел. И не слышал, о чем она говорила с Пашенькой.

Потом он проводил Ангелину до вокзала. И простился с ней.

Шумов помнил наизусть этот неточный адрес на конверте. Но все его поиски были безуспешны. А отказаться от них он не мог. «Мне желательно просьбу того лейтенанта исполнить», — говорил Миронов.

Со дня на день Шумов ожидал отправки в часть. И вечерами ходил по дворам, по домам, стучался в подъезды, поднимался по лестницам. И всюду слышал одно и то же: «Нет, не проживает»...

Он высматривал на улицах людей постарше, старожилов здешних мест, как ему казалось, и спрашивал их, не знают ли они Баратову, имя которой значилось в неточном адресе. Но никто ее не знал.

Старик с седыми бакенбардами сказал ему, что он никогда не слышал такой фамилии. И спросил, не случилось ли пану офицеру бывать в Лодзи — там когда-то все друг друга знали.

Старушка в пуховом платке тоже не могла ему помочь. « Не знаю, не слыхала, вы уж извините», — говорила она, кутаясь в свой платок. Потом спросила, нет ли у него папирос. Шумов отсыпал ей табачку в сморщенную ладошку.

И тут он снова увидел молоденького лейтенанта с девушкой в легком пальто. Он хотел спросить у них, не знают ли они Карину Карловну Баратову, как было записано в неточном адресе. Но не решился нарушить их молчания.

Они стояли под часами с застывшими стрелками. Эти остановившиеся часы поразили Шумова. Он вдруг понял, что у него нет времени, что он не исполнит просьбу того лейтенанта. Какая-то девочка чертила на земле квадратики.

Это было уж совсем безнадежное дело, но все же он спросил у нее, не знает ли хоть она, где живет Баратова.

— А вам зачем? — спросила девочка и выпрямилась, держа в руке острую палочку. У нее были строгие не по возрасту глаза. — Вы с войны приехали? Или из госпиталя?

Шумов все объяснил, чувствуя, что тут есть какая-то надежда. Он даже подумал, что надо было сразу к де-

тям обратиться, спрашивать мальчишек, девчонок — они все про всех знают... Целый день на улице.

— Вон ее дочка Надя с Маратом лейтенантом разговаривает, — сказала девочка. — У них свидание...

Шумов оглянулся. Под часами никого не было. Застывшие стрелки смотрели вверх. Почему-то они показались Шумову похожими на стволы зенитных орудий.

Девочка медленно повернула голову и тоже увидела, что под часами никого нет.

— Ушли уже, — сказала она. — Моя мама в госпитале работает. Вера Петровна, может быть, вы знаете?

Шумов даже руками взмахнул: Вера Петровна! Надо было и у нее спросить! Не знаешь, где найдешь, где потеряешь... Как тесен мир и как он огромен! Шумов взглянул на девочку. Ей было, наверное, лет десять. Хотя она выглядела много старше. Классы на земле остались недорисованными. Девочка бросила палочку, которой чертила квадратики.

— Пойдемте, я вас провожу, — сказала она и протянула ему заледенелую руку, которую Шумов бережно взял в свою широкую и теплую ладонь.

Дверь отворила Бутырина в старом халате. Увидев Шумова, она вздрогнула и спросила:

— Вам кого?

— У меня письмо, — сказал Шумов и показал конверт лейтенанта. — Знаете, здесь адрес неточный. Едва нашел...

Бутырина взяла из его рук конверт, прочла внимательно адрес и сказала:

— Проходите.

Потом она оглянулась и крикнула в глубину коридора:

— Карина Карловна, вам письмо!

Из дверей в коридоре стали выглядывать жильцы.

Кроме старожилков здесь было много эвакуированных из других городов. Все, что говорилось у входной двери, сразу становилось известным всем.

Бутырина посторожилась, пропуская в коридор Шумова. Взгляд ее скользнул по его авиационным погонам. Она что-то хотела спросить Шумова, но не решилась.

Коридор был заставлен ящиками и связанными вещами. Оставалась только маленькая узкая дорожка посередине. У одной двери лежали горкой сложенные угли.

Из дальней двери в конце коридора выглянула маленькая старенькая женщина в домашней поношенной куртке и встревоженно спросила:

— Ко мне? Вы ко мне? Какое письмо?

Она шла навстречу Шумову и протягивала ему свою руку:

— У вас письмо, вы говорите?

Шумов поздоровался и назвал свое имя, сказав при этом, что его имя ей ничего не объяснит.

— Я не надеялся отыскать вас, — добавил Шумов. — Тут адрес не совсем точный.

И он передал ей письмо.

— Заходите, пожалуйста, — сказала Карина Карловна.

Она пошла вперед по коридору, где справа и слева открывались и закрывались двери. Бутырина смотрела им вслед.

В комнате горела коптилка. Электричество погасло неожиданно. Может быть, света долго не будет. Коптилка была сделана из старого граненого флакона. Горлышко флакона прикрывал щиток, вырезанный ножницами из консервной банки. Через щиток протергивался самодельный фитиль. Пропитанный маслом, он горел неярким уголком посреди стола.

На столе лежала открытая газета. Шумов заметил

фотографию на второй полосе. Трактор. Один в чистом поле... Зима продолжалась, но шел уже 1944 год.

Шумов подумал, что он впервые переступил домашний порог за все эти долгие годы войны. Он чувствовал себя неловко, боялся что-нибудь нечаянно задеть рукавом. Палочку свою он оставил у входа и держался прямо и несколько напряженно.

— Снимайте шинель, — сказала Карина Карловна. — Вы, наверное, замерзли. Снегопады, снегопады... Такая долгая зима. Нам удалось достать немного угля.

Садитесь вот сюда, — она указала на кресло, покрытое чехлом, — вам не холодно? Давайте вашу шинель.

И оттого, что кресло было покрыто парусиновым летним чехлом, и шинель была повешена на гвоздик у двери, и Карина Карловна присела к столу, Шумов почувствовал, как сами собой проходят усталость и напряжение.

В комнате было тепло. Углы и стены тонули в темноте, и только середина стола была освещена открытым огнем. И все же Шумов заметил, что комната тесная, что вещи стоят в каком-то временном, случайном соседстве. Дом перенаселен, перегружен, как большой эшелон.

Карина Карловна поднесла письмо к глазам. Быстро взглянула на адрес, на почерк, развернула письмо, пробежала его глазами, взглянула на подпись и воскликнула:

— Боже мой! Это от Жорика!

Наступило молчание. Шумов подумал, что, может быть, ему надо уйти. Но едва он сделал движение, как Карина Карловна, не отрывая глаз от письма, жестом остановила его.

— Садитесь ближе к столу, — сказала она. — Сейчас мы будем ужинать. Скоро придет моя дочь. Она была дружна с Жориком, когда они были детьми.

Карина Карловна положила письмо на стол, поглядела на Шумова и добавила:

— Я вам очень благодарна за это письмо! Вы даже не знаете...

Она стала накрывать на стол. Постелила белую чистую скатерть. Коптилку пришлось переставить на буфет. Скатерть была заутюженная и отлежавшаяся, с твердыми, негнушимися краями. На столе появилась сахарница с наколотым сахаром, корзиночка с ломтиками хлеба, грецкие орехи.

Шумов смотрел, как эти домашние, полузабытые предметы выплывали из темноты и располагались на столе в привычном соседстве друг с другом. И все это было удивительно! О себе он не думал. Просто смотрел на чистую домашнюю скатерть, на огонь, который в руках Карины Карловны медленно передвинулся с буфета на стол так, что Шумов почувствовал его тонкое тепло, когда он покачнулся и наклонился в его сторону.

— Сколько лет теперь Жорику? — задумчиво спросила сама себя Карина Карловна. — Наверное, больше двадцати!

Она подвинула Шумову большую чашку дымящегося свежего чая.

— Пейте, пожалуйста, — сказала Карина Карловна.

Шумов отпил глоток и закашлялся. Он вдруг понял, что Карина Карловна принимает его за близкого друга или знакомого ее Жорика. А ведь он о нем ничего не знал, кроме того, что рассказывал майор Миронов.

И Карина Карловна в самом деле спросила его, когда он видел Жорика... Она хотела добавить: «в последний раз», но удержалась и испуганно взглянула на Шумова. А Шумов не знал, что отвечать ей.

Наконец он сказал:

— Дело в том, что я никогда его не видел...

— Как не видели? — воскликнула Карина Карловна. — А письмо?

Шумов рассказал о том, как к нему попало это письмо. Когда он упомянул о майоре Миронове, Карина Карловна спросила:

— У него было письмо нашего Жорика?

— Да, — ответил Шумов, — так получилось...

Они помолчали.

— Когда был ранен майор Миронов? — спросила Карина Карловна.

— Давно, — ответил Шумов. — Наверное, месяц назад, или даже больше.

И опять наступила тишина.

Наконец Карина Карловна спросила:

— Где это было?

— Это было во время боев под Белгородом, — ответил Шумов и потянулся за кисетом. — Можно закурить? — спросил он.

— Пожалуйста, — ответила Карина Карловна. — Нет, нет, оставьте ваш табачок. Я угощу вас папиросами. Не знаю, может быть, они пересохли? — добавила она, открывая ящик буфета.

Там, под стопкой салфеток, лежала коробка папирос «Герцеговина флор».

Капитан Шумов восхитился, замахал руками — какая роскошь! И закурил тонкую папиросу, закашлялся и сказал, что совершенно отвык от папирос.

— Мой Сергей очень любил эти папиросы, — сказала Карина Карловна. — Курите, пожалуйста!

Пламя светильника горячо освещало лицо Шумова. Он был очень бледен. «Госпитальная белизна», — подумала Карина Карловна.

— Ваши родные живы и здоровы? — осторожно спросила она.

— Сведений не имею, — ответил капитан Шумов, раскуривая погасшую папиросу.

— Где вы жили до войны?

— Я жил в Симферополе, — ответил он. — Работал учителем в школе.

Карина Карловна задумалась. Шумов молчал. Потрескивал фитиль, покачивалось от дыхания пламя.

— Я жил в Симферополе. Работал учителем в школе, — повторил Шумов.

Он положил папиросу в пепельницу — стеклянную подкову.

— Я думаю, какая жизнь будет после войны, — сказал он. — И не поверят когда-нибудь, что на земле был фашизм, вооруженный бомбами, самолетами, «пантерами». И мир был наполнен детьми, которые выросли в затемненных городах. Какими будут эти дети?

— Да, — сказала Карина Карловна. — Вокруг столько страданий...

— Вы бывали в Симферополе? — спросил Шумов. — Очень красивый город...

— Нет, не довелось.

— Да ведь и я впервые в Ташкенте, — сказал Шумов. — Довелось побывать... Знаете, выучил несколько слов по-узбекски: «рахмат» — спасибо, «куп рахмат» — большое спасибо.

— Бедный Жорик, — сказала Карина Карловна. — Пейте чай, я еще налью.

Был уже поздний час. За окнами быстро темнело. Снова пошел снег.

— Бедный Жорик, — повторила Карина Карловна. — Он не знает, что все родные его погибли. Да... Под бомбами. Я узнала об этом от соседей, из Ростова. Они теперь тоже здесь живут, недалеко от нас. Как он вспомнил наш адрес? Его отец был в родстве с моим покойным мужем. Сергей погиб еще до войны, во время катастрофы на заводе. Мы не переписывались в последние годы. Он ошибся всего двумя номерами домов, посмотрите! — и она протянула Шумову конверт.

— Я знаю, — сказал Шумов. — Мне соседи указали ваш дом.

— Мы давно живем здесь, — кивнула Карина Карловна, — и нас многие знают. Но сейчас в Ташкенте столько новых лиц. Знакомые на улице встречаются не так часто, как прежде. Раньше я узнавала каждого нового человека, а теперь с трудом узнаю знакомых.

— Мне сказали, что вы работаете на почте.

— Да, — сказала Карина Карловна, — надо как-то жить... А вы? — спросила она. — Куда вы теперь?..

— Завтра я возвращаюсь в свою часть, — ответил Шумов.

Он хотел сказать: «Завтра я улетаю на фронт», но побоялся, что это прозвучит слишком громко и сказал: «Возвращаюсь в свою часть».

В комнату вошла Надя в узком легком пальтишке и в бархатной шапочке «маленькая мама». Она остановилась у порога, Шумов сразу узнал ее.

— Вот и Надя! — сказала Карина Карловна. — Надя, это капитан Шумов. Он привез нам письмо! Ты помнишь Жорика?

— Да, — ответила Надя. — Что с ним случилось?

— Он прислал нам письмо с фронта... Вот оно.

Надя поздоровалась с Шумовым, сбросила пальтишко и присела к столу. Она взяла письмо и приблизила его к свету.

Капитан Шумов глядел на ее почерневшие, как будто обожженные руки.

— Ты читала, мама? — испуганно спросила Надя, взглянув на Карину Карловну.

— Да, да, — ответила она. — Он все-таки разыскал нас!

— Что это у вас? — спросил Шумов, глядя на обожженные руки Нади.

— Это от шелка, — ответила Надя.

— Надя работает на заводе, — сказала Карина Карловна. — Шелк обжигает руки...

Зажегся свет. Вспыхнула лампочка под широким довоенным абажуром. И Шумов увидел строгое лицо Надежды, смотревшей на потемневшее окно.

— Мне пора! — сказал Шумов.

У дверей капитана Шумова ожидала Бутырина.

— Скажите, — спросила она, — вы не встречали случайно на фронте Андрея Бутырина? Я тут письмо написала. Передайте ему, если встретите, очень вас прошу!

СЛЕД СТРЕЛЫ

Нас было трое.

Сергей Ветвицкий, отставной матрос Черноморского флота, списанный на берег после третьего ранения и нашедший себе пристанище в инженерном управлении Среднеазиатского военного округа. Он был начальником изыскательской партии.

Таня Молибожко в золотых босоножках, только что окончившая строительный техникум и зачисленная в изыскательскую партию для работы с геодезической аппаратурой. В поле она выехала впервые.

И разнорабочий.

Разнорабочим был я. В моем ведении находились вешки и колышки, а также стальная лента для измерения расстояний на местности. Мне шел шестнадцатый год, я уже во второй раз выходил в поле с экспедицией.

В изыскательской партии была еще тягловая единица — обозный конь по кличке Автодор. Его обязанность состояла в том, чтобы нести на своей спине измерительные приборы и запас продовольствия на несколько дней пути.

Нам предстояло пройти много километров через пески и степи. Вместе со съемками на местности путешествие должно было занять целый месяц.

По дороге к нам пристал черный пес, бродячий зверь, который за свою склонность к пустопорожнему лаю и всяческому бреханию на ветер получил прозвание Гебельс.

Я думал тогда, что пески непроходимы, что в них увязнешь по колено и не выберешься...

В пустыне было пустынно. Только высоко в небе кружилась какая-то хищная птица. Называлась пустыня Кызылкумы, что значит Красные Пески. На рассвете и на закате в песках смутно отражалось солнце, и тогда они действительно становились красными.

Казалось, что вокруг нет ни души. Но когда мы поднялись на бархан, то увидели множество тропинок. Они шли с разных сторон и в разные стороны, пересекая друг друга, сливаясь и раздваиваясь.

И всюду впереди бежали бесконечные тропинки, указывая верную дорогу от селения к селению, от колодца к колодцу.

Пустыня — это тысяча дорог.

Стояла весна.

В экспедиции все было рассчитано точно по времени и протяженности пути. Никакие задержки или остановки по техническим или каким-нибудь другим причинам не разрешались.

Мы должны были выйти в точно указанный квадрат в точно назначенное время. Красная стрела на карте пересекала пространство стремительно и яростно. Цель нашего задания была нам неизвестна. Мы знали только путь, а не цель. А путь уводил нас все дальше на восток, за Кызыл-Орду.

Карта с намеченной по линейке трассой хранилась у Ветвицкого в его планшете. Это был старенький, потерянный планшет, с поцарапанной кожей и плотной слюдяной вставкой.

С планшетом Ветвицкий не расставался никогда. Да и мы не расставались друг с другом во все время нашей экспедиции.

Нам предстояло жить и работать вместе в соответствии с обстоятельствами и планами командования.

Начальник военного лагеря, откуда мы выступили в поход, пожелал познакомиться с нами лично.

— Смирно! — сказал Ветвицкий, увидев приближающегося к нам полковника Викторова.

Мы стояли на плацу плечом к плечу: длинный, худющий Ветвицкий, золотая Молибожко и я...

Внушительным в нашей команде был только конь Автодор.

Викторов оглядел нас очень внимательно и сказал:

— Воевать всегда приходится с теми солдатами, которые есть. И побеждать тоже!

Мне лично его речь очень понравилась. Я находил в ней большой исторический смысл. А Ветвицкий смутился и косо поглядел на золотые босоножки Тани.

— Надо ей сапоги, что ли, выхлопотать, — сказал он после встречи с Викторовым. — Куда она собралась в таком виде?

Полковник Викторов велел выдать Тане новые брезентовые сапоги.

— Берегите себя и других, — сказал он ей на прощание.

Не знаю, была ли она красива, просто она была лучше всех. Я это понял с первого взгляда, как только ее увидел. Не укрылось от меня и то обстоятельство, что Ветвицкий, несмотря на то, что он с досадой глядел на ее босоножки, тоже считал ее лучше всех.

Мне же казалось, что право считать ее лучше всех принадлежит мне одному, потому что я понял это с первого взгляда.

Оказалось, что полковник Викторов это тоже понял с первого взгляда.

— Мы еще встретимся, в конце пути, — сказал он. Не было сомнений, что ему была известна и цель нашей экспедиции.

И мы оказались наедине с небом, степью, наедине с самими собой.

Я вел в поводу Автодора, который легко нес нашу нехитрую поклажу.

Впереди шел Ветвицкий.

А Таня замыкала шествие, по пути собирая цветы и отгоняя Геббельса, когда он мешал ей... И мне казалось, что мы плывем за нашим отставным моряком по огромному зеленому морю.

Наконец мы добрались до первого тригонометрического знака, отмеченного на карте Ветвицкого черным кружочком.

Здесь мы должны были взять отметку, как говорят геодезисты, то есть установить первую цифру высоты над уровнем моря и от нее отсчитывать возвышения и понижения каждой избранной нами точки на местности относительно этой постоянной величины.

Тригонометрический знак представляет собой деревянную решетчатую башню на бетонном основании. В самом центре башни установлен чугунный колышек с государственным номером.

По этому номеру и устанавливается настоящая величина высоты над уровнем моря.

Тане Молибожко все казалось удивительным. И знак в степи с государственным номером, и зеленая трава, оплетающая подножие деревянной башни, и суслики, перебегающие из окопчика в окопчик, и ястреб в небе.

У тригонометрического знака мы решили устроить привал. Геббельс лаял на закат.

И хотя всему на свете удивлялась Таня, Ветвицкий почему-то посмеивался надо мной.

Мне это не нравилось!

— Приготовиться к раскрытию рта, — сказал Ветвицкий, обращаясь ко мне, — сейчас взойдет луна, впервые в жизни!

И в самом деле, из-за холма, как по мановению руки Ветвицкого, вошла луна, похожая на огненную фелуку.

Таня раскрыла рот от удивления и сказала:

— Никогда не видела такой луны!

— Способность удивляться, — сказал Ветвицкий, опять обращаясь ко мне, — есть признак молодости!

Я ушел в отчаянии собирать колючки для костра.

Где-то я читал, что способность удивляться всему на свете есть первая добродетель философа. Вспомнив эти слова, я немного успокоился и решил относиться к насмешкам Ветвицкого философически.

Так утешал я себя.

Утром мы должны были начать съемки на местности.

Ветвицкий решил по этому поводу провести производственное совещание в узком кругу у костра.

К тригонометрическому знаку мы вышли раньше намеченного часа, и у нас было немного времени про запас. Так сказал Ветвицкий для начала разговора.

А продолжение разговора оказалось для него совершенной неожиданностью.

— А кто будет снимать? — спросила Таня Молибджко, задумчиво глядя в огонь.

— Как кто? — удивился Ветвицкий — Вы!

— Я? — сказала Таня.

Слова Ветвицкого удивили ее еще больше, чем месяц, похожий на фелуку.

— Конечно, вы! А кто же?

— Но я не умею! — сказала Таня.

И виновато улыбнулась.

Я посмотрел на Ветвицкого. На нем лица не было...

— Не умеете? — спросил он. — Почему же вы об этом раньше ничего не говорили?

— Меня никто об этом не спрашивал.

— Так... — задумчиво сказал Ветвицкий. — Но ведь вы окончили техникум, — добавил он, взглянув на Таню.

Таня грустно покачала головой.

— Я плохо училась, — сказала она, — забыла что знала. Все время приходилось подрабатывать чертежами. У меня мама и сестренка на руках. И не думала, что когда-нибудь попаду в настоящую геодезическую партию...

Наступила тишина. Огонь похрустывал сухими колючками. И Автодор щипал траву равнодушно и мерно. Геббельс заливался хриплым лаем за холмом.

— Я научу вас, — сказал Ветвицкий, — пока еще есть время!

И он велел мне принести нивелир. Я думал, что Ветвицкий сам возьмется за съемку с утра, а Таня постепенно научится управлять теодолитом.

В прошлом году я выезжал в поле с Бунаковым. Он научил меня работать с приборами и даже похваливал за точность. Но я об этом предпочитал помалкивать, чтобы не вызвать новых насмешек Ветвицкого.

Мы расстелили брезент на траве, поставили нивелир поближе к свету. А чтобы света было побольше, зажгли два фонаря «летучая мышь», которые были нам выданы для работы.

Ветвицкий стал объяснять Тане его устройство. Она многое помнила по техникуму, многое схватывала из объяснения, все шло хорошо.

Но когда Ветвицкий взял в руки аппарат, мы увиде-

ли его руки... Они ему не повиновались! У запястья правой руки был виден глубокий шрам. Левая рука обожжена. Он с усилием поворачивал окуляры и винты.

Работать в поле целый день он не сможет. Это ясно...

Таня мельком взглянула на меня и отвернулась.

Я думал о том, что еще не сказал Ветвицкий, не успел еще объяснить. Он не успел еще сказать о том, что в геодезии одна ошибка влечет за собой другую, тысячи других ошибок, так что вся работа на местности может оказаться совершенно напрасной. Когда он скажет это, Таня, может быть, и удивится, но лучше нам от этого не будет.

Съемку вести некому!

Раненый матрос, золотая Молибожко, которая плохо училась в техникуме, и разнорабочий...

— Давай теперь ты, — сказал мне Ветвицкий.

И я осторожно взял из его рук теодолит.

Он внимательно следил за каждым моим движением, поправлял меня, если я что-нибудь объяснял неточно, однако ни одного насмешливого слова в мой адрес в этот вечер не сказал.

И я признался, что уже работал с этими приборами и могу завтра начать съемки, если Таня еще не все поняла, с первого взгляда...

На том мы и остановились.

— И если ты допустишь хоть одну ошибку, — сказал мне Ветвицкий, — то под трибунал попадешь не ты, а я...

Я не знал, что сказать в ответ. А Ветвицкий добавил:

— Способность впасть в отчаяние — признак молодости.

И Таня виновато улыбнулась ему.

Я ушел бродить по холмам. Геббельс умолк, как будто подавился.

Прозрачная фелука плыла на огромной высоте, едва касаясь мелких облаков, которые вспыхивали, приближаясь к ней, и не смели ее коснуться.

При одной мысли о том, что в случае моей ошибки Ветвицкий примет всю вину на себя и пойдет под трибунал, у меня холодело сердце.

И я работал изо всех сил, стараясь ни о чем больше не думать.

Вот Таня устанавливает рейку на колышке позади меня. Я поворачиваю теодолит и несколько мгновений смотрю на нее в увеличительные стекла. Я вижу ее лицо, глаза, стеклянные сережки зеленого цвета. И она чувствует, что я смотрю на нее, и удивленно поднимает брови.

Когда я подаю знак, что можно снять рейку с колышка, она кивает мне и бежит вперед, пока я перевожу створ по лимбу на 180 градусов. И снова несколько мгновений смотрю на лицо Тани, прежде чем снять отметку высоты по черно-бело-красной рейке.

В увеличительном стекле весь мир мне кажется выпукло-цветным, ярким и резким.

Вот Таня кивает мне головой в знак того, что она поняла меня... Ей не хочется, чтобы я сердился на нее за то, что она плохо училась в техникуме.

Еще она умела свистеть, то резко и пронзительно, то протяжно и нежно.

Если я отвлекался, она меня окликала свистом, потому что мы расходились на значительные расстояния и слов не было слышно. Но больше всего эти звуки нравились Автодору. И он шел за Таней как замороженный.

— Скифская сигнализация, — шутил Ветвицкий.

Так мы подвигаемся вперед.

Ветвицкий тянет ленту, вбивает колышки, Таня переносит рейку с одного колышка на другой, а я волоку нивелир с треногой, не чувствуя ни времени, ни усталости.

Ветвицкий знает, что я смотрю в увеличительные стекла на Таню. И это его сердит. Но запретить мне смотреть на Таню он не может.

Он не может обойтись без меня.

Бунаков был великим знатоком землемерной техники. И работать с ним было легко. Не только я, но сама тренога, казалось, бегала за ним вприпрыжку.

Но у Бунакова была тайна.

Вблизи 54 разъезда, где мы производили съемку, жила его приятельница Люся Карачарова. Она носила косы валиком на голове и варила вишневое варенье, кислое, на сахарине.

Бунаков обожал вишневое варенье и всегда находил повод навеститься к Люсе. А чтобы работа от этого не страдала, научил меня действовать самостоятельно.

В конце сезона Бунаков подарил мне перочинный нож с шестью лезвиями и ножницами — большая редкость! И взял с собой в гости к Люсе Карачаровой.

Мы пили чай с вишневым вареньем. А потом Люся играла на гитаре и пела низким голосом:

Понапрасну травушка измята
В том саду, где зреет виноград...

У меня от этого варенья была страшнейшая оскоми-на, скулы сводило, и я жевал траву и листья. От травы и листьев оскоми-на проходила. А Бунаков после варенья курил больше обычного и отплевывался...

Спасибо Люсе Карачаровой. Теперь пригодилось все, чему я тогда научился на 54 разъезде.

По вечерам я засыпал прежде, чем успевал коснуться головой подушки, набитой свежей травой.

Во сне я видел Таню и черно-бело-красную рейку с отметками высоты. Иногда мне снилось, что я обрываюсь со страшной высоты и лечу вниз, а внизу Ветвицкий едет верхом на Автодоре в трибунал и Таня собирает цветы в чистом поле.

Однажды я проснулся и увидел, что Ветвицкий сгорбившись сидит у огня «летучей мыши» и держит в руках пикетажную книжку. И я понял, что он по ночам ведет камеральную обработку дневной съемки.

Таня спала, завернувшись в одеяла, и огонь летучей лампы озарял ее неверным светом. Виден был локон над ухом и зеленый светлячок сережки.

Что-то я хотел спросить у Ветвицкого, но не успел и снова уснул.

В другой раз я проснулся оттого, что услышал тихие голоса.

Я открыл глаза и увидел, что Ветвицкий и Таня о чем-то тихо говорят. До меня долетали лишь обрывки слов. Ветвицкий рассказывал о том, как он до войны служил в торговом флоте, ходил с кораблями в Турцию, Грецию, в Африку. Видел город Александрию.

— Когда мне говорят «Александрия», я вижу белые стены домов, — нараспев сказал Ветвицкий.

И я не понял, стихи это были или проза.

Таня подбросила веток в костер, и огонь вспыхнул ярко и опустился до земли.

— Который час? — спросил я из темноты.

— Пора вставать, — ответил мне Ветвицкий, — уже светает...

Таня посмотрела в мою сторону и засмеялась.

...Утром мы завтракали на траве.

Ветвицкий открывал консервы, а Таня жарила на огне макароны. Мы с ней пили крепкий чай, а Ветвицкий готовил себе чашку кофе по-турецки.

Геббельс подкрадывался к нам, принохиваясь к запаху еды, и ждал поодаль, пока мы окончим завтрак.

Автодор знал, что сейчас мы начнем навьючивать на него поклажу, и отходил в поле подалее. Мы никогда не привязывали его. И однажды были за это наказаны.

Геббельс ночью вспугнул Автодора, и наш конь понесся в степь сломя голову. Мы услышали ровный удаляющийся топот копыт и в первую минуту не знали, что предпринять.

Между тем Геббельс вернулся и уселся поблизости от нашего лагеря, как бы наблюдая за нами.

Пока мы с Ветвицким раздумывали, как тут быть, Таня побежала в степь. Мы видели, как она взобралась на курган, огляделась и, вложив пальцы в рот, свистнула с такой силой, что казалось, трава прилегла к нашим ногам.

Мы смотрели на нее с удивлением, раскрыв глаза. Ее невысокая, прямая и неподвижная фигурка резко выделялась на фоне звездного неба.

Свист повторился снова. И вдруг послышался ровный нарастающий топот копыт. Автодор возвращался. И Геббельс исчез с глаз долой...

— Ах, соловей-разбойник! — сказал Ветвицкий, когда Таня вернулась, ведя за собой Автодора.

Таня засмеялась и сказала, что она все может, только не все умеет. Автодор положил ей голову на плечо, сдув дыханием локон у виска. Зеленая сережка щекотала ему ноздри.

Таня сказала, что у нее был хороший отец, с которым она очень дружила. Они вместе ходили в лес слушать птиц. Отец ее был орнитолог. Он и научил ее свистеть громко, чтобы не потеряться... Это было давно, в детст-

ве, на Севере. Отец погиб на фронте в первые месяцы войны.

— Я думала, что уже разучилась свистеть, — сказала Таня. — Умница, Автодор, послушался... — И она погладила коня по голове.

Автодор шевелил ушами и подрагивал всем телом.

Нам предстояло пройти через болотистую местность, заросшую камышами и талами. Мы решили нанести на мензуральный план топкую часть пути.

Ветвицкий говорил, что дорогу через заболоченную местность вряд ли будут здесь прокладывать и командование одобрит уклонение от прямой линии, потому что в объезд путь всегда короче...

Прямо навстречу, переваливаясь и сложив крылья, как бы заложив руки за спину, шла важная птица с красноватым гребнем. Она что-то ворочала и явно не собиралась уступать нам дорогу.

— Удод! — тихо сказала Таня и замерла, остановив нас движением рук. — Он улетает на зиму далеко, к Индийскому океану...

Удод тоже остановился и, склонив голову, некоторое время рассматривал нас издали. Потом он вдруг взмахнул крыльями и пропал в зарослях.

Мы услышали рычание и лай Геббельса, который рыскал где-то поблизости. Это произошло как раз в тот момент, когда Ветвицкий сказал Тане, чтобы она шла с Автодором в обход и ждала нас, пока мы кончим мензуральную съемку.

И вдруг я увидел, как камыши раздвинулись и на меня уставилась тупая кабанья морда, вся в грязи. Было в ней что-то одновременно яростное и беспомощное. Клыки торчали вверх и слышалось тонкое повизгивание.

— Кабан! — закричал Ветвицкий. — Стой на месте, не поворачивайся, закройся планшетом!

Я с трудом вытащил треногу из болота и выставил острые копыя вперед. Ветвицкий, размахивая вешкой, бежал ко мне.

Таня поднялась на возвышение и увидела всю эту картину сверху. Автотор вырывался у нее из рук и вскидывался.

И опять раздался разбойничий свист.

Кабан медлил, приплюхиваясь к воздуху. Я опрокинул на себя треногу...

И вдруг кабан бесшумно исчез, точно так же, как появился. Вместо него мелькнула в камышах черненькая мордочка Геббельса. Не было никакого сомнения, что подлый пес все подстроил нам назло. И сам провалился в камышах, завяз в трясине и потом долго отряхивался на берегу и весь дрожал.

— Ох, Геббельс, погубит тебя твоя прыть, — говорил ему Ветвицкий и грозил ему черно-бело-красной вешкой.

— До чего же здорово! — сказала Таня, когда мы встретились за обедом. — Никогда такого не видала! Настоящий кабан в камышах... Как на картинке!

— Картинка! — говорил Ветвицкий, раскладывая наши сапоги вокруг костра, чтобы высушить их до начала вечерней съемки.

— Я думаю, он доски бы не прошиб, — сказал я, — да и тренога с железными наконечниками.

— Доску бы он не прошиб, — сказал Ветвицкий, — если бы ты держал ее как надо. А то поднял над головой треногой вверх и устоялся на кабана. Ты что, не видел, что ли, никогда такого зверя?

— Как над головой? — удивился я. — Я планшет прямо перед собой держал и ни на минуту не выпускал кабана из виду.

— В том-то и дело, — сказал Ветвицкий. — Если бы ты держал планшет прямо перед собой, то непременно бы упустил его из вида.

...Мы подвигались вперед, уходя все дальше на восток, как нам указывала направление военная стрела на карте.

Автодор шел следом за Таней, кивая головой, а Геббельс петлял где-то подаль. Этот пес был как навязание. Его враждебность в соединении с какой-то странной привязанностью удивляла нас. Он не отставал от нас, а если забегал вперед, то только для того, чтобы сделать какую-нибудь гадость или принести дурные вести.

На карте было обозначено сухое русло какой-то безымянной реки. Мы и не думали о ней. Перейти русло не стоит никакого труда, если река пересохла...

Но в степи все случается не так, как предполагаешь. Ветвицкий всегда был готов к неожиданностям. Он даже говорил, что в степи неожиданностей больше, чем на море. И мы имели возможность убедиться в этом.

Например, река.

Нам пришлось остановиться перед ней. Оттого ли, что весной прошли обильные дожди, или от каких-то других причин, но река вернулась в свои берега. И даже затопила правый берег.

Переправиться через такую реку с нашей поклажей было не просто. А лодок здесь не найти, потому что вокруг нет жилья.

Первым увидел реку Геббельс. Он окунулся в нее и примчался к нам, отряхивая брызги со своих косматых боков.

Автодор прибавил шагу. И Ветвицкий забеспокоился. — Что-то там не так, — сказал он. — В природе...

В природе была река, а на карте ее не было.

Я вырос в Азии, большой воды с детства не видел. И плавать не умею. Это первое, что я подумал, когда увидел широкую полосу воды в открытых голых берегах. Как же мы на ту сторону переберемся?

Ветвицкий задумчиво стоял на берегу и прислушивался к шуму мелкой воды на отмели. Автодор, позвякивая удилами, тянул воду осторожно и неторопливо, закрыв от наслаждения глаза. День был жаркий. Солнце стояло прямо над головой.

Мы решили сначала переправить на другой берег нашу аппаратуру. Ветвицкий сказал, что он поплывет на спине, потому что так ему удобнее. Правую руку он не мог поднять выше головы: в предплечье сидел осколок от третьего ранения.

Таня Молибожко уверяла нас, что она плавает как рыба. А когда я признался, что не умею плавать, все, даже, как мне показалось, и Автодор, посмотрели на меня с досадой и упреком.

— Что ты сказал? — удивился Ветвицкий.

— Сказал то, что есть: плавать не умею...

— Что же тут уметь? — сказал Ветвицкий сердито. — Ложись грудью на волну — и плыви! Ты же можешь правую руку выше головы поднять...

Я молчал.

— Ничего, — сказала Таня Молибожко, — переедешь на хвосте Автодора...

— Да, — сказал Ветвицкий, — держись за хвост Автодора, если не умеешь плавать! — И засмеялся.

Мне было очень обидно.

Главное, я не ожидал такой насмешки от Тани.

Между тем Геббельс открыл навигацию. Он вошел в воду, покрутился на месте и вдруг поплыл, наставив уши над водой и руля хвостом. Иногда он скрывался из виду за невысокой волной. За ним тянулся длинный след, как от торпеды. Но вот мы увидели, что он вышел на противоположный берег и отряхнулся. Лег на песок...

— Пора! — сказал Ветвицкий,

Таня Молибожко сбросила сапоги, стянула с себя через голову платье и пошла рядом с конем к воде. К седлу Автодора мы прикрепили половину нашей поклажи, чтобы ему не было тяжело.

Худенькая невысокая Таня в полотняной выше колен рубашке была похожа на скифскую богиню. Ее босые ноги оставляли на песке узкие глубокие следы рядом с рытвинами копыт. Таня и Автодор погружались в волну, и мы смотрели на них с замиранием сердца.

Сначала взмахнула руками Таня, потеряв дно под ногами. Потом Автодор лег грудью на воду, как меня учил Ветвицкий, вытянул шею и распустил по воде хвост. Они плыли рядом, и ни один всплеск воды не был слышен на тихой реке. Только птицы летели над водой, взмахивая широкими крыльями.

Вот они приблизились к противоположному берегу. Первым ступил на грунт Автодор. Потом на песок выбралась Таня.

Берег!

Она подняла руки и помахала нам в знак того, что все в порядке. Таня сняла поклажу с Автодора и тронулась в обратный путь. Река была желтая, мутная, но каждая капля ее сверкала на солнце.

Ветвицкий сложил из деревянного футляра для нивелира, мензурного планшета и нескольких сухих веток, которые мы нашли на берегу по течению реки, узкий плотик, который выдерживал меня на воде, если на него не налегать, а только держаться на плаву.

Таня прикрепила этот плотик веревками к седлу Автодора, и я оказался у него на хвосте. Мы тронулись в путь. Ветвицкий плыл на спине и далеко опережал нас, хотя и его сильно сносило течением. Плотик нырял на волнах, и мне заливало глаза водой.

Я старался не смотреть по сторонам и крепко держался за плотик. Слева от меня, касаясь правой рукой седла Автодора, плыла Таня Молибожко. Капельки во-

ды сверкали у нее на зеленых сережках, я видел ее голову и руки над водой. И прозрачные крылышки стрекоз сопровождали нас от берега до берега. Одна из них гибким коромыслом вилась у меня перед глазами. Таня оборачивалась ко мне и говорила:

— Плывешь?

— Плыву, — отвечал я.

— Умница... Держись!

Автодор иногда доставал копытом до моего плотика, и я чувствовал, как он несет нас вперед, Таню и меня, через реку, которой нет на карте Ветвицкого.

И хотя я не умел плавать, так хорошо было плыть по этой несуществующей реке!

Мы вымылись в ее водах так, что от болотной грязи не осталось и следа.

— Чище мы чистого! — сказала Таня, накидывая свое платье на новом берегу.

Так мы шли по прямой, никуда не сворачивая, как нам велела стрела на карте, и вышли однажды к уединенной чайхане у дороги.

Здесь мы остановились ненадолго, чтобы немного отдохнуть. Единственным посетителем чайханы оказался сельский учитель Троицкий. Он ездил в район за учебниками для своей школы и теперь возвращался домой.

Мы приближались к населенным местам. Наше уединение в степи подходило к концу.

Троицкий был стар и отнесся к нам как к своим вчерашним ученикам, хотя мы его видели впервые. Он вообще, по-видимому, относился ко всем, кто был много моложе его, как к своим ученикам.

Особенно ему понравилась Таня Молибожко. И фамилия ее понравилась, и она сама... Он даже сказал,

что взял бы ее на работу в школу, потому что учителей не хватает. А ученики растут!

Он достал из своего потерянного детского портфельчика новенькую фотографию и показал ее нам. На фотографии были изображены летчики у крыла истребителя «ИЛ-2».

— Мои ученики! — сказал Троицкий.

Таня Молибожко долго рассматривала фотографию, на обороте которой была надпись: «С фронтовым приветом!»

Троицкий приглашал нас заглянуть к нему в школу, но мы не могли изменить нашего маршрута.

Мы могли идти только по прямой.

— Китоврас вы этакий! — сказал Троицкий, обращаясь к Ветвицкому.

И Троицкий рассказал нам древнюю историю про Китовраса. Был такой сказочный крылатый зверь, который ходил только по прямой. И не мог поворачивать ни вправо, ни влево. И перед ним все расступались и рушились преграды.

И вот однажды Китоврас подошел к какому-то дому и остановился. Дом этот надо было разрушить, чтобы Китоврас мог пройти. Он и остановился только для того, чтобы ему расчистили путь.

А в доме том жила бедная женщина. Она вышла на встречу Китоврасу просить, чтобы он не разрушал ее дома. Китоврасу стало жаль женщину. И он пошел боком, надавил на стену дома и сломал ребро.

Оттого и пошла пословица, что «доброе слово ребро ломит».

В другой раз заспорил с Китоврасом царь. Китоврас взмахнул крылом и забросил того царя на край земли, где его еле отыскивали книжники и фарисеи.

Нам эта история очень понравилась.

— Я и есть Китоврас, — сказал Ветвицкий. — Хожу по

прямой. И если сверну с дороги, ребро у меня переломится.

Троицкий между тем опять стал рассказывать про своих учеников. Где, на каких фронтах они воюют и какие письма шлют домой и в школу.

— Я, как главнокомандующий, получаю вести со всех фронтов!

Был он в серой старенькой толстовке, в белой панаме. Из-за стекол круглых очков в медной оправе сверкали то гневом, то озорством светлые глаза.

Он достал из своего детского портфельчика письмо в конверте из оберточной бумаги.

Письмо начиналось так: «Сегодня у нас с утра дождь и редкая артиллерийская стрельба. Пользуюсь случаем, чтобы написать вам, дорогой учитель...»

— Вот они, будни войны! — воскликнул Троицкий. — С утра дождь и артподготовка... Каково? Когда-нибудь эту фразу приведут в учебнике как документ нашей эпохи. И кто это пишет? Кто? Мальчик, белоручка, книгочей. И он стал солдатом, привык к войне... Понимаете? Я был уверен, что он станет кабинетным ученым. А он стал фронтовым офицером. Между прочим, награжден боевым орденом.

Троицкий был на каникулах. Он привык говорить с учениками. Ему не хватало класса. И он говорил с нами, высказывая нам свою боль и гордость, свою тревогу и радость за своих учеников, от которых он получал вести со всех фронтов.

— Война скоро кончится, — сказал он. — Я верю в победу, как верю в своих учеников.

Он был голоден. И, когда мы пригласили его разделить с нами нашу трапезу, он согласился. Но ел очень мало, рассеянно, по-стариковски, роняя крошки на край стола.

Война застала его в Ленинграде. Он стал вспоминать первые бомбежки, во время которых он был ранен, а

потом и эвакуирован в Ташкент, а оттуда уже попал в степную школу-интернат.

— В Ташкенте я встретил поэтессу Ксению Некрасову, — рассказывал Троицкий. — Вы не знаете ее? Она когда-нибудь станет знаменитой. Она мне читала свои новые стихи. И там были строки о бомбардировках первых дней. Не знаю ничего точнее и удивительнее, чем эти строки:

Тяжелые смерти с стеклянными лбами
Торжественно плыли на жестких крылах...

Что там было дальше, не помню, потому что когда услышал эти строки, то увидел снова те первые страшные дни.

Троицкий простился с нами внезапно, как будто вдруг спохватился, что ему давно пора ехать по своим делам, а он тут заболтался с добрыми людьми, и себе помешал, и другим, такая уж стариковская суетность!

Он сел на свой велосипед и уехал, петляя и пыля по бездорожью.

— Мне все-таки жаль, что я не согласилась работать у него в школе, — сказала Таня Молибожко. — Я думаю, что из меня бы вышла хорошая учительница.

— Да... — согласился Ветвицкий. — Я бы тоже пошел в школу. Думаю, что из меня бы вышел неплохой ученик.

Расставшись с Троицким, мы опять оказались совершенно одни в огромной степи. Солнце накаливало пустыню добела, выжигая траву и превращая глину в тонкую пыль, которая поднималась косым пологом и долго висела в воздухе, расширяясь и следуя за нами.

Теперь мы очень берегли воду, не столько для себя, сколько для Автодора, от которого мы целиком зависели в нашей работе. До следующего колодца было почти

полдня пути. Воду мы хранили в двух армейских термосах, навьюченных на лошадь. Головы покрывали мокрыми полотенцами, которые высыхали раньше, чем мы успевали почувствовать прохладу.

Таня сменила свои сапоги на золотые босоножки. Так ей было легче шагать рядом с нами. И я про себя твердил стихи из какой-то старой книги, запавшие мне в память:

Искать следов твоих сандалий
Между заносами пустынь.

— Что ты там бормочешь? — говорил Ветвицкий. — Выброси эти стихи из головы и смотри лучше под ноги! Если ты когда-нибудь станешь поэтом, то мы, чего доброго, все вместе с Троицким попадем в историю.

— В таком виде? — ужасалась Таня, хватаясь за голову, покрытую высохшим полотенцем, похожим на тюрбан.

— Осторожно! — вдруг крикнула она.

Я остановился и увидел прямо под ногами змею, которая на моих глазах уползла в нору под можжевельным кустом.

Таня, держась за мое плечо, вытряхнула пыль из своих сандалий.

Змеи нам встречались на пути часто, но привыкнуть к ним мы не могли.

Вечером, в темноте, я не заметил под ногами обрывок ржавой колючей проволоки. И распорол ногу. Лицо Ветвицкого помрачнело, как море перед бурей. Он был в ярости.

— Да как ты мог? — кричал он. — Да куда ты все смотришь? Мальчишка!.. Ты о чем думаешь?

Вся речь его состояла из одних только вопросов. И ни на один из этих вопросов я не мог ответить. Да он мне и не давал сказать ни слова.

Кровь лилась из раны, а впереди было еще полдня пути. Проклятая проволока! И откуда она тут взялась, в степи? Ржавое, полуистлевшее железо впилося в ногу, прошив сапог.

— Ты что, по морю, что ли, плывешь? — не унимался Ветвицкий. — Не знаешь, что такое суша? Ну-ка, покажи ногу, герой!

Таня разбросала вещи из своего рюкзака и на самом дне нашла бинты и йод. Пока она промывала рану и бинтовала ногу, Ветвицкий помогал ей, а потом сказал мне:

— Глядеть на тебя противно!

Геббельс ухватил мой сапог и поволок его в пески. Но Ветвицкий выхватил у него добычу и швырнул сапог к моим ногам.

— И это называется помощник? — говорил он. — Теодолитом управляет? Черта с два! Он своими ногами не управляет. И зачем я только взял тебя в свою партию? Оставался бы дома, не затруднял других!

И он посмотрел на Таню Молибожко, которая трудилась над перевязкой, ее волосы касались моего лица. Из-за этой золотой преграды ее волос я с трудом теперь мог различить выражение лица Ветвицкого, но голос его слышался непрерывно.

И странно, что в этом голосе звучала какая-то обида. Наконец Ветвицкий сделал паузу. И я воспользовался этим, чтобы высказать все, что я о нем думаю. Я сказал, что каждый может напороться на колючку. И ничего тут нет удивительного. И если бы он, Ветвицкий, напоролся на колючку, я бы не стал так кричать на всю пустыню и не стал бы его ругать, особенно если бы видел, что ему и так больно...

И еще я сказал ему, что не стану до конца пути с ним разговаривать. И если бы я знал, то не пошел бы с ним в экспедицию.

— Помоги! — сказала Таня,

Ветвицкий молча присел рядом со мной и помог Тане затянуть концы бинта. перевязка была окончена. Мы сидели рядом на песке. Автодор стоял за спиной. В отдалении завывал Геббельс.

Таня вдруг обняла нас за плечи и сказала:

— Мальчики, не ссорьтесь. Мне страшно.

— Ладно! — сказал Ветвицкий и протянул мне руку. — Живи и жить давай другим. Всякие бывают обстоятельства, — и он отбросил кусок колючей проволоки, свернувшейся в клубок.

Геббельс схватил зубами эту проволоку и утащил ее куда-то за бархан.

Еще издали мы увидели поселок. Он лежал на плоской серой равнине. И только вблизи домов, вокруг колодца, росли высокие тополя и виноградники.

Теперь с теодолитом работала Таня Молибозко, а я помогал ей и смотрел, чтобы она не забывала выравнивать отвес при установке аппарата. Кроме того, я помогал Ветвицкому, тянул за собой Автодора. Мы подвигались вперед медленно, но у нас был небольшой запас времени, который мы выиграли на других участках пути.

И вдруг Таня сказала:

— Смотрите!

Она не отрываясь глядела в трубу аппарата.

Ветвицкий подошел к теодолиту, заглянул в трубу и тоже замер. Ему была хорошо видна открытая веранда, где с книгой в руках сидел в кресле наш старый знакомый, учитель Троицкий, ничего еще не подозревавший о том, что Китоврас надвигается прямо на него.

Стрела на карте вывела нас по прямой к этой школе. А все, что встречается на пути Китовраса, должно быть разрушено. Это нам объяснил сам Троицкий...

— Даже в море корабли иногда сталкиваются, — сказал Ветвицкий. — Что уж тут говорить о суше...

Мы остановились. И стали держать совет, как нам поступить. Если продолжать путь по прямой, то надо нанести трассу на планшет. Эта трасса, конечно, может оставаться тайной для Троицкого. Он ничего не узнает...

Но нет ничего тайного, что бы не стало со временем явным. Когда придут строители и предъявят ему план, он поймет, что значил наш визит в его школу. Мы даже представить себе не могли, что он скажет о нас тогда.

— Скажет, что никак не ожидал такого сюрприза от таких благородных и воспитанных учеников, — заметил Ветвицкий.

— Мне просто жаль его школу, — сказала Таня Молибожко. — И потом эта веранда, кресло, белая панамка — все полетит кувырком...

— Может быть, посоветоваться с ним? — предложил я.

— Ни в коем случае, — ответил Ветвицкий. — Разглашение военной тайны карается законом. Обстоятельства бывают разными, но решать надо самому. Кроме того, обстоятельства меняются, а ты оставайся человеком, — и он взглянул на меня свысока.

Мы опять чуть не поссорились. Как будто я был виноват в том, что трасса уперлась в этот домик на окраине.

— Кто из нас Китоврас? — спросил я.

— Ладно, беру это все на себя, — сказал Ветвицкий.

Положение у нас было довольно сложное. Если только взять следующую отметку по прямой, дорога пройдет через школу и ее участок. А это значит, что придется строить другую школу...

— Нет, ребята, — сказала Таня Молибожко, — не годится нам ломать школу Троицкого... Рука не поднимается.

— Тем более что среди нас школьник, — добавил Вет-

вицкий. — Есть только одна возможность: вернуться немного назад и отбить новый угол, чтобы трасса миновала школу, а потом этот угол срезать за ее пределами.

Так мы и решили поступить. Я остался с Автодором, а Ветвицкий и Таня ушли в степь. Почему-то мне очень не хотелось оставаться одному. Ветвицкий был уже далеко, а Таня еще собирала свой рюкзак, я сказал ей:

— Таня! Я тебя люблю...

Таня очень торопилась, чтобы не отстать от Ветвицкого.

— Умница, — сказала она. И погладила меня по голове.

Я чуть не заплакал от обиды.

Ветвицкий вернулся назад на восемь километров и взял новый азимут. Трасса пошла в сторону и миновала школу.

Мы отклонились от прямой стрелы, которая была нанесена на карту. Но на это у нас были, как мы считали, веские причины.

— Что скажет трибунал? — спросил Ветвицкий.

— Оправдает, — ответила Таня.

— Благодарность вынесут, — добавил я, радуясь, что Таня и Ветвицкий вернулись скорее, чем я ожидал.

— Школьник должен дорожить школой, — сказал Ветвицкий насмешливо, но по его голосу я чувствовал, что он тоже рад, что мы опять вместе.

И вдруг наш Автодор заржал на всю степь и помчался куда-то, вскидывая крупом и раскачивая поклажей на спине.

— Куда? — закричали мы все трое.

Но Автодор, который долго стоял и к чему-то прислу-

шивался, теперь не останавливался и не оглядывался, уходя от нас все дальше и дальше.

Вдали мы увидели стадо коней. Геббельс бежал за ним следом и как будто подгонял его. Я поглядел в бинокль и увидел, что Автодор врезался в табун и исчез в нем. За табунном на лошади ехала странная фигурка с копьем.

Когда мы подошли к школе, Троицкий поглядел на нас с балкона, узнал и крикнул:

— Старые знакомые! Заходите. Милости прошу!

И вышел нам навстречу с распростертыми объятьями.

— Китоврас! — сказал он Ветвицкому. — Ну что, как ваша прямая линия?

— Ребро ломит, — ответил Ветвицкий.

Троицкий не понял, почему он так сказал. И мы не стали ему объяснять, что нам пришлось далеко возвращаться в степь, чтобы потом с чистым сердцем войти под крышу его школьного дома.

Мы только спросили его, чей это табун виднеется вдали и как нам выручить своего Автодора, который сбежал от нас вместе с поклажей.

— Это совхозный табун, — ответил Троицкий. — Так ваш Автодор сбежал? Ну, этому горю помочь можно.

Троицкий оставил нас отдыхать на веранде, а сам ушел на несколько минут.

Мы услышали, что он говорит о чем-то с мальчиком в синей поношенной матроске. Это был один из его учеников, которые возделывали школьный участок.

Мальчик взял велосипед и укатил в степь. Как связанной самокатчик...

Там, где мы были, не существовало полевой почты. Мы не получали писем из дома и никому не писали. Газет мы тоже не видели. Радио не слышали.

И все же война всегда была где-то рядом с нами. По-

этому, когда мы попали к Троицкому, он устроил для нас настоящую лекцию о военном и международном положении 1944 года.

Во время этой лекции послышался отчаянный лай и рев Геббельса. Мы выглянули в сад и увидели, что он припадает к земле, взвизгивает в воздух, бьет лапами, щелкает зубами...

Оказалось, что он напал на большого ежа, который, свернувшись в клубок, выставил иглы во все стороны. Чем яростнее нападал Геббельс, тем дальше отпрядывал!

— Смотрите! — сказал Троицкий. — У него семьдесят семь уловов, но все ненадежные, а у ежа один способ защиты, зато самый верный!

Мы вышли в сад и отогнали Геббельса. Еж медленно удалился, унося на спине дубовый листок, упавший на его иглы с дерева. Мы с уважением смотрели ему вслед.

Вся эта сцена произвела на Ветвицкого сильное впечатление.

— Нет, — говорил он. — Это надо было бы записать. Жаль, что у нашей экспедиции нет своего летописца или художника... Не полагается по штату, а жаль! Смотри, какая сноровка у него в нападении, и оттуда, и отсюда, и лапами, и клыками. А остался ни с чем! Прямо урок стратегии и тактики, ничего не скажешь...

Таня подобрала с земли другой дубовый листок и прикрепила его к петлице Троицкого.

В этот миг я очень жалел, что не умею рисовать. Много просилось под карандаш, многое запоминалось так отчетливо, как будто было нарисовано иглой по металлу.

Над школой пролетали самолеты. Это нас удивляло. В небе парили боевые машины. Где-то поблизости был военный аэродром, на котором проходили учение боевые летчики на новых машинах.

— Все меняется, — говорил Троицкий. — Я преподаю историю и вижу, как история складывается у меня на глазах. Моя школа оказалась в центре стратегических полей будущего.

Ночью, выйдя на балкон школьного дома, увитого виноградными лозами, мы были потрясены тем, что увидели. На горизонте под широким азиатским небом горели яркие ореолы пламени. Это были металлургические заводы, эвакуированные далеко в тыл. Были слышны переключки паровозов.

— У меня в школе не хватает людей, — жаловался Троицкий. — Каждый преподаватель ведет два предмета. Но никогда еще в этих краях не было таклюдно. В первые месяцы войны здесь все опустело. А сейчас кажется, что каждое новое наступление на западе создает прилив новых сил на востоке. Я хочу понять странную зависимость отлива и прилива сил как тайну грядущей победы.

Геббельс был похож на соглядатая. Он держался от нас на некотором расстоянии, но никогда не выпускал нас из виду. Стоило нам разговориться, как он являлся тут же и обосновывался где-нибудь рядом, выставив вперед длинное ухо.

Самокатчик Троицкого вернулся и сказал, что Автодор никого к себе не подпускает. Ветвицкий остался в школе, а мы с Таней отправились за нашим конем.

Автодор сделал вид, что не узнает нас. Он нашел себе прекрасное кровное общество и не желал, по-видимому, продолжать наше путешествие.

Табун сторожила злющая старуха на коне. Она сначала гнала нас прочь и ни за что не желала признавать, что Автодор наш конь и случайно попал в табун.

Потом она согласилась, что Автодора надо отдать нам, чтобы мы могли продолжать наше очень важное государственное путешествие.

Но Автодор не отходил ни на шаг от гнедой лошадки, которая была, видимо, польщена таким вниманием, отбегала от табуна, вскидывала голову и разбрасывала гриву по ветру.

Тогда Таня привстала на носки, вложила пальцы в рот — и скифский свист огласил степь. Старуха выронила копые от неожиданности, конь ее шархнул в сторону, но она его удержала, развернула и на скаку подняла копые с земли.

— Молодец, дочка! — сказала старуха.

И мы увидели, что Автодор во весь дух мчится к нам, но впереди него летела к нам гнедая лошадка. Тут старуха табунщица оценила положение и с диким криком кинулась на нас с копьем наперевес.

Насилу мы договорились. И увели нашего Автодора. Долго еще слышалось нам тонкое пронзительное ржание гнедой лошадки, вернувшейся к своему табуну.

Мы шли через пустыню целый месяц. А месяц во время войны равен десяти годам в иное время. За те дни, пока мы привыкали к одиночеству, к простору, к пустыне, когда мы забывали, где живем, все изменялось. И пустыня, где мы ожидали найти пустыню, превращалась в стратегический простор.

Троицкий и понятия не имел о том, что в вихре превращений едва не рухнул его домик на краю поселка.

В назначенный квадрат мы вышли в назначенное время. Впереди шла Таня Молибожко в своих золотых сандалиях, за нею — Ветвицкий, держа в поводу Автодора, а за ними я, и где-то позади плелся черный бродячий пес...

Еще издали мы увидели палатку с открытым пологом. Возле палатки стоял Виктор и смотрел на ручные часы.

— Минута в минуту, — сказал он, поздоровавшись с нами.

Он пригласил нас в свою палатку, предложил сесть вокруг походного столика и сообщил нам, что получено предписание, по которому мы должны продолжить нашу трассу до ветки железной дороги, а оттуда повернуть на север и двигаться по направлению к никому тогда еще не известному селению Байконур.

Трудно сказать, какое чувство мы испытывали тогда. Во-первых, мы были рады, что вышли в назначенный квадрат минута в минуту. Мы сделали, что могли. Во-вторых, нам предстояло вместе продолжать путь.

— Я тоже кое-какие стихи знаю, — сказал Ветвицкий.

И прочитал нам строчки, которые мы тогда слышали впервые:

Если голубая стрекоза
На твои опустится глаза,
Крыльями заденет о ресницы,
В сладком сне едва ли вздрогнешь ты...

Это были прозрачные слова, пронизанные ветром востока:

Из Китая прилетит угод,
Болтовню пустую заведет,
Наклоня красноватый гребень...

Все было очень похоже на то, что мы видели. Ветвицкий обнял нас с Таней за плечи и сказал:

Пусть приснится: наша жизнь чиста
И крепка, как ветка винограда.

И строки эти навсегда остались в памяти как юность.

Мы возвращались в военный городок Викторова через два месяца. И не узнавали местности. В квадрате были выстроены гарнизонные домики, разбиты палисадники, установлены ограждения и шлагбаумы. К военному городку вела шоссейная дорога, еще пустынная, но с регулярными кюветами и дорожными знаками.

Была ночь. Мы шли караваном по шоссе. Небо было чистым и ясным, как бывает в Азии в конце лета.

— Узнаёте? — сказал Ветвицкий.

Перед нами был знакомый тригонометрический знак. Мы приближались к месту нашей первой стоянки, где всплыл над нами месяц, похожий на фелуку. Холмы оплетала выгоревшая на солнце трава. Геббельс нюхал землю...

Там, где горел наш костер, стоял дорожный знак с табличкой «108 километр». Мы поднялись на холм. Автородор положил голову на плечо Тани и поводил ушами. Тихонько звенели его удила.

С холма нам была видна дорога, уходящая в глубину ночи. И вдруг мы услышали гром, который нарастал, катился на нас лавиной, рассекая воздух и наполняя мир тревогой и дрожью.

Мы сначала не могли понять, что это значит. Потом вдалеке вспыхнули огни, которые шли один за другим, парами, цепочкой, выстраивались ромбами, рассыпались. Глухой лягз стали нарастал с каждой минутой.

Это шли танки. Шли в квадрат особого назначения. Это были знаменитые машины «Т-34». Танки двигались сплошной стеной. И в открытых люках стояли танкисты в глухих шлемах. Танки шли по нашей трассе, по следу, скользнувшему через планшет Ветвицкого.

Они катились мимо нас, обдавая нас стальным ветром, гарью и грохотом. Лучи фар скользили по белому вздрагивающему телу Автодора, по суровому, как бы вырезанному из меди, лицу Ветвицкого, по золотым сандалиям Тани Молибожко.

Мы стояли на высоком холме и смотрели на эту лавину, которая катилась по трассе, проложенной через стратегические степи.

Геббельс, весь ощеренный, метнулся на танки, мелькнул в лучах фар и, взвившись в воздухе, пропал. Больше мы его не видели...

А мимо нас все катилась колонна танков, слитная и стремительная, как стрела.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Новые люди	6
Выстрел	11
Охотничья пещера	15
Чистый лист	18
Филин	22
Первый рейс	27
Неприкосновенный запас	33
Разъезд	37
Карьер	42
Оптимальный вариант	46
Апрель	50
Сафар	54
Мерген	58
Золотой Клык	64
Запретная зона	70
Гость	76
Взрыв	88
В тумане	92
Талая вода	97
Быстрее мысли	104
Благородная Бухара	108
У старого колодца	114
В академической палатке	119
Митрохин	124
Удача	129
Большая дистанция	134

Условия задачи	138
Следопыт	143
В те дни	147

ПОВЕСТИ

Зима в Ташкенте ,	170
Следы стрелы	206

Эдуард Григорьевич Бабаев

СЛЕД СТРЕЛЫ

М., «Советский писатель», 1980, 240 стр.
План выпуска 1981 г. № 9

Редактор В. М. Стригин
Худож. редактор Е. Ф. Капустин
Техн. редактор Т. И. Гончарова
Корректор Л. Н. Морозова
ИБ № 2397

Сдано в набор 24.07.80. Подписано к печати
18.11.80. А 14317. Формат 70×108¹/₃₂. Бума-
га тип № 1. Литературная гарнитура. Вы-
сокая печать. Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л.
10,23. Тираж 30.000 экз. Заказ № 8236. Це-
на 70 коп. Издательство «Советский писа-
тель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11,
Типография издательства «Коммунист»,
г. Саратов, ул. Волжская, 28.